

Нищета историцизма

Предисловие к русскому изданию

Эта книга возникла на основе лекции, прочитанной на семинаре профессора Ф. фон Хайкена в Лондонской школе экономики (образующей часть Лондонского университета) зимой 1935 — 36 гг. Моей главной целью была критика Марксового "материалистического понимания истории" — попытки предсказать, что социализм (или коммунизм) неизбежно наступит в результате надвигающейся социальной революции. Но я также намеревался дать критику всей сферы исторических пророчеств — любых предсказаний будущего, основанных на материалистическом, идеалистическом или любом другом модном мировоззрении, — и вне зависимости от того, что за будущее нам предсказывают — социалистическое, коммунистическое, капиталистическое, черное, белое или желтое.

В те дни каждый уважающий себя "интеллектуал" считал себя способным предсказывать будущее — пользуясь светом некой глубокой мудрости или, быть может, глубоких инстинктов в сочетании с глубокими историческими познаниями: глядя на величественную реку истории, он считал, что способен увидеть и сказать, что же дальше случится с мой рекой — этой могучей силой, неудержимой, неостановимой.

Но это — просто метафоры, и метафоры неудачные. История — то, что случилось в прошлом. Это не река и не сила.

История всегда заканчивается сегодня, в этот самый момент времени. Начиная с сегодняшнего дня мы сами, наша воля, наши этические убеждения, — вот что может влиять (хотя, конечно, лишь отчасти) на то, что случится в будущем. Мы способны влиять на будущее, и не только посредством наших этических убеждений и верований, но и с помощью нашей готовности принять на себя ответственность, с помощью критического к себе отношения, благодаря способности учиться и разучиваться, благодаря нашему скептицизму в оценке идеологий, особенно идеологий исторического характера.

Приведу пример того, насколько опасна идеология историцизма. Когда в 1922 г. Муссолини, в недавнем прошлом лидер левого крыла социалистической партии Италии, добился диктаторских полномочий как лидер "фашизма" — радикального правого движения, тоталитарного и националистического и в то же время социалистическом, — вожди марксистской партии во Франции, Германии, Австрии и России очень удивились. Существование правого реакционного массового движения не укладывалось в их марксистскую идеологию, согласно которой массовое движение могло быть только движением пролетариата. Фашистская революция? Консервативная, реакционная революция? В рамки их идеологии это никак не укладывалось — это было невозможно.

Поэтому вначале они не приняли фашизма всерьез. Они думали, что он вскоре исчезнет или преобразуется в марксистское движение. Политические успехи Муссолини считались исторически невозможными, и поэтому (вначале) в нем не видели реальной угрозы.

Однако повсюду в Европе возникали новые фашистские, антимарксистские и террористические движения, а уже существовавшие движения этого типа набирали силу и влияние, — тогда социалистические и коммунистические вожди вынуждены были отказаться от игнорирования этой угрозы, ведь очень многие последователи марксизма вступили в ряды фашистов. В этой тревожной ситуации у одного из марксистских идеологов возникла блестящая идея. Он открыл "сущность" фашизма, объяснил его, а приспособив к марксистским историческим предсказаниям.

Сущность фашизма была определена следующим образом: "Фашизм — это последнее прибежище, последний рубеж, последний вздох издыхающего капитализма". Все сразу приняли эту идею с чувством великом облегчения и интуитивной убежденности в ее истине. Теперь мы знаем! Ведь это же очевидно! Разве Энгельс (более или менее) не предсказывал этого, когда говорил, что мы должны использовать насилие, раз его применяют капиталисты! Это и было тем положением вещей, которое предсказывалось. Это именно и есть последний

рубеж перед нашей неизбежной социальной революцией. Теперь мы действительно понимаем, что такое фашизм как исторический феномен!

Как здорово! Подлинное эмпирическое подтверждение марксистской исторической теории! Конечно, мы должны бороться с фашизмом, но нет никаких причин для беспокойства: пусть история происходит! Пусть история беспокоится! Пусть история отвечает за происходящее!

Не думаю, что я хоть что-либо преувеличил. Мне довелось оказаться одним из тех немногих еще живущих людей, кто был свидетелем подобных марксистских откровений. По сути дела, я был их свидетелем и полностью независимым оппонентом. Вся эта история — типичный пример тот, что я называю историцистской идеологией.

Как я обнаружил позднее, я не самый первый борец с историцизмом. Еще раньше борьбу с ним повел Леонард Нельсон, замечательный философ, убежденный социалист немарксистской ориентации, умерший в 1927 г. в возрасте 45 лет — месяц спустя после его визита в Москву, на который он так надеялся и к которому так долго готовился. Он возвратился в Германию в глубокой депрессии. Во время визита, длившегося 5 недель, никто, даже Троцкий, не смел говорить с ним открыто. Все боялись. И они знали, чего боялись — особенно Троцкий, впоследствии умерщвленный сталинскими палачами.

"Капитализм", "социализм", "коммунизм" — все это идеологические словечки, имеющие смысл для многих людей и не имеющие никакой связи с реальным миром. Возьмем "капитализм". Широко распространенным словом оно стало благодаря Карлу Марксу. С его помощью Маркс пытался охарактеризовать общество, в котором жил, но истолковывал это общество неправильно. Он думал, что главной его чертой была его историческая роль, — что историческая судьба рабочих при капитализме состоит в ежедневном ухудшении их положения. И Маркс доказывал это! Эта историческая черта капитализма оказалась для него решающей: "Капитализм нельзя реформировать, он может быть только уничтожен". (Вы все еще можете встретиться с этим взглядом в мемуарах Хрущева.) Но общество, которое описывал Маркс, никогда не существовало. Даже в течение его собственной жизни положение рабочих постоянно улучшалось. Это поставило Маркса и Энгельса перед неприятной проблемой. Ибо они думали, что чем хуже идут дела у рабочих, тем лучше они идут у истории: тем скорее рабочие восстанут.

Поэтому следовало найти объяснение тому факту, что положение вещей ухудшалось, ведь для Маркса было существенно важно, чтобы оно ухудшалось.

Неприятности с улучшением положения рабочих вскоре разъяснились: дело заключалось в эксплуатации колоний и колониальных рабочих; это позволяло Англии, Франции и Голландии подкупать своих собственных рабочих и тем самым искажать уже доказанные законы истории. Посмотрите на капитализм! Капитализм всегда — зло! Он превращает хороших пролетариев, заставляет их эксплуатировать рабочих в колониях и делает их злейшими буржуа!

Однако у Америки не было колоний, а американские индейцы не могли быть подвергнуты эксплуатации. И все же американскому рабочему хорошо платили и дела его улучшались... Ну конечно, следовал ответ, ведь у них были чернокожие рабы!

Однако именно капиталистические эксплуататоры Севера начали войну, чтобы освободить рабов, — войну, в которой почти 600 000 белых людей погибли, и все они были добровольцами.

"Разумеется, — нашлись марксисты, — эта война велась из чисто эгоистических побуждений, как же иначе!"

Вот уж действительно нонсенс — очередной идеологический ИДИОТИЗМ!

Так что марксистский "капитализм" никогда не существовал; общество, в котором жил Маркс, очень отличалось от того, что он о нем думал. Кроме того, с середины XIX в. в нем произошли весьма серьезные изменения. Никогда ранее не достигалось такого равенства между людьми. Однако для марксистов мы на Западе живем при все том же "капитализме". Почему? Потому что революция, которую предсказывал Маркс, еще не произошла!

Итак, марксисты, особенно западные марксисты, были и остаются слепцами, не замечающими величайших революций, которые пережило западное общество с том времени, когда жил Маркс. Подумайте о том, как облегчился тяжелый ручной труд, когда стали применять машины! (Я говорю это на основании собственного опыта, потому что занимался строительством дорог в 1919 г., но мне не хватило сил и я должен был отказаться от этой работы.) Подумайте об изменениях, связанных с продолжительностью жизни! (Возьмем в пример меня, я сижу и пишу это предисловие в возрасте 90 лет.)

Я хотел бы заключить свое предисловие, выразив мои наилучшие пожелания народу России, всем, кто говорит на русском языке. Боюсь, что мои предостережения против идеологий — это все, что я могу для вас сделать. Мне бы хотелось, чтобы я мог сделать больше.

P. S. Написав это, я чувствую, что кое-что еще я все-таки могу сделать, — хотя, наверное, немногие меня услышат, а может быть я и вовсе не буду услышан. Я хотел бы сказать несколько слов о национализме. Английский или американский, австрийский или немецкий, и особенно еврейский национализм и/или расизм — это зло и идиотизм. Важно также, что это позиция трусов. Мы должны решать свои проблемы самостоятельно или с помощью друзей (если нам повезло и у нас есть друзья); и мы должны это делать как отвечающие за себя индивиды, а не в качестве части толпы. Толпа всегда безответственна. Но многие люди любят находиться в толпе: они слишком напуганы, чтобы делать что-либо другое, и потому сами начинают подвывать, когда воют волки. И тогда жизнь человека идет прахом, загубленная трусостью и страхом.

1993 Карл Поппер

Историческая справка

Памяти бесчисленных жертв фашистской и коммунистической веры в Неумолимые Законы Исторической Судьбы

Основной тезис этой книги (состоящий в том, что вера в историческую необходимость является предрассудком и предсказать ход истории с помощью научных или каких-то иных рациональных методов невозможно) был высказан еще зимой 1919 1920 гг. Главные ее идеи сложились к 1935 г., а в январе или феврале 1936 г. на домашнем семинаре моего друга Альфреда Браунталя в Брюсселе был прочитан доклад под названием "Нищета историцизма". На состоявшемся тогда же обсуждении серьезный вклад в дискуссию внес мой бывший студент доктор Карл Хильфердинг, павший впоследствии жертвой гестапо и историцистских предрассудков Третьего Рейха. Были там и другие философы. Чуть позже я сделал доклад на ту же тему в Лондонской школе экономики на семинаре у профессора Ф. А. фон Хайека. Публикация книги на несколько лет задержалась, так как рукопись была отвергнута периодическим изданием, которому ее тогда передали. Впервые книгу опубликовал журнал "Economica" в томе XI (NN 41 и 43 за 1944 г.) и XII (N 46 за 1945 г.). Потом были выпущены итальянский (Милан, 1954) и французский (Париж, 1956) переводы. Настоящее издание выходит в исправленном и дополненном виде.

Предисловие

В "Нищете историцизма" я пытался доказать, что историцизм — это метод бедный, не приносящий плодов. Я не ставил тогда своей целью его опровергнуть.

Позднее мне удалось дать опровержение историцизма: я доказал, что по основаниям строго логического характера предсказать течение событий невозможно.

Это доказательство изложено в статье "Индетерминизм в классической и квантовой физике" (1950).

Впрочем, теперь оно кажется мне неудовлетворительным. Более убедительный вариант

можно найти в дополнении к моей книге "Логика научного открытия" ("Постскрипtum: двадцать лет спустя") в главе об индетерминизме.

Кратко изложу его суть. Аргументацию можно суммировать в пяти утверждениях.

(1) Значительное воздействие на человеческую историю оказывает развитие человеческого знания. (Истинность этой посылки признают и те, кто видит в наших идеях, в том числе в научных идеях, побочные продукты материального развития.)

(2) Рациональные или научные способы не позволяют нам предсказать развитие научного знания. Это утверждение доказывается логическим путем (доводы в его пользу приводятся ниже).

(3) Таким образом, ход человеческой истории предсказать невозможно.

(4) Это означает, что теоретическая история невозможна; иначе говоря, невозможна историческая социальная наука, похожая на теоретическую физику. Невозможна теория исторического развития, основываясь на которой можно было бы заниматься историческим предсказанием.

(5) Таким образом, свою главную задачу историцизм формулирует неправильно (см. разделы с 11 по 16) и поэтому он несостоятелен.

Конечно, речь идет не о всяком вообще социальном предсказании; так, вполне возможна проверка социальных теорий — например, в сфере экономики — через оценку успешности предсказания результатов развития, которые получаются при определенных условиях. Речь идет только о том, что историческое развитие непредсказуемо в той мере, в какой на него оказывает влияние развитие нашего знания.

В этой аргументации утверждение (2) имеет решающее значение. Если развивающееся человеческое знание существует, то мы не можем сегодня предвидеть того, о чем будем знать только завтра. Несмотря на убедительность этого рассуждения, его нельзя считать логическим доказательством утверждения (2). В упомянутых публикациях изложено довольно сложное рассуждение (найдишь более простое доказательство, я бы ничуть этому не удивился). Его суть в том, что никакой научный прорицатель (будь то человек или вычислительная машина) не может научно предсказать свои собственные результаты, которые будут получены в будущем. Добиться здесь успеха можно будет только тогда, когда произойдет само событие и предсказывать будет поздно; предсказание станет послесказанием.

Аргументация эта, чисто логического свойства, применима к самым разным научным прорицателям (predictors), включая "коллективы" из взаимодействующих прорицателей. Но это означает, что ни одно общество не способно научно предсказать, каким знанием оно будет располагать в будущем.

Моя аргументация носит несколько формальный характер. Может даже возникнуть подозрение, что, даже если в логическом смысле она и правильна, реального смысла в ней маловато.

Смысл этой проблемы я пытаюсь разъяснить в двух своих книгах. В более поздней, "Открытом обществе и его врагах", приводятся примеры из истории историцистской мысли, говорящие о ее постоянном и пагубном влиянии на социальную и политическую философию — от Гераклита и Платона до Гегеля и Маркса. В более ранней, "Нищете историцизма", выходящей теперь и на английском языке, историцизм предстает как блестящее интеллектуальное построение. Проанализируем его логику — иногда такую тонкую, такую убедительную и такую обманчивую — и докажем, что недуг, которым она страдает, является врожденным и неисцелимым.

К.Р.П.

Пенн, Букингемшир, июль, 1957

Некоторых рецензентов моей книги, из числа самых въедливых, озадачило ее название. Это намек на "Нищету философии" Маркса, в которой, в свою очередь, содержится намек на "Философию нищеты" Прудона.

Введение

Научный интерес к социальным и политическим вопросам вряд ли возник позднее, чем интерес к космологии и физике; в древности иногда даже казалось, что наука об обществе обогнала науку о природе (я имею в виду политические учения Платона и Аристотеля). Но с появлением Галилея и Ньютона физика преуспела настолько, что оставила позади все другие науки; а с появлением Пастера, этого "Галилея биологии", почти такой же рывок сделали биологические дисциплины. Что касается социальных наук, то они, по-видимому, так до сих пор и не нашли себе собственного Галилея.

Поэтому социальных исследователей так и заботят проблемы метода; обсуждая эти проблемы, они нередко ориентируются на методы процветающих наук, особенно на методы физики. Попытка сознательного копирования экспериментального метода привела во времена Вундта к реформе психологии; а начиная с Д. С. Милля реформе пытались подвергнуть метод социальных наук. В психологии что-то похожее на успех было достигнуто, несмотря на великое множество разочарований, которые пришлось испытать. В теоретических же социальных науках (экономика не в счет), кроме разочарований, она не принесла ровным счетом ничего. При обсуждении причин случившегося встал вопрос: а применимы ли вообще методы физики к социальным наукам? И не вера ли в их применимость привела социальные науки к плачевному состоянию?

Можно предложить довольно простую классификацию школ мысли, занимающихся методологией непреуспевающих наук. Соответственно тому, как они смотрят на проблему применимости методов физики, мы можем разделить их на пронатуралистические и интинатуралистические. "Пронатуралистическими", или "позитивными", будем называть те школы, которые взирают на применение методов физики к социальным наукам с благосклонностью; "антинатуралистическими", или "негативными", те школы, которые считают, что эти методы здесь неприменимы.

На каких именно позициях стоит исследователь метода — антинатуралистических, пронатуралистических или же сочетающих те и другие, — в немалой степени зависит от его взглядов на науку и ее предмет. Но его подход будет определяться также и его взглядами на методы физики. Полагаю, что это — самое главное. Решающие ошибки в большинстве методологических дискуссий обусловлены весьма распространенным непониманием методов физики. В частности, можно творить о неправильной трактовке логической формы физических теорий, методов их проверки и логической функции наблюдения и эксперимента. Это непонимание влечет за собой серьезные последствия — тезис, который я буду обосновывать в III и IV частях данной работы. Различные и порой конфликтующие аргументы или концепции — как антинатуралистические, так и пронатуралистические — на самом деле суть следствие неправильного понимания методов физики. В I и II частях будут разъяснены некоторые антинатуралистические и пронатуралистические концепции — составные части подхода, объединяющего концепции том и другого рода.

Этот подход я называю историцизмом. Я хотел бы подвергнуть его критическому разбору, однако только после том, как будет разъяснено, в чем его суть. С историцизмом можно встретиться в дискуссиях о методе социальных наук; зачастую его используют некритически, принимая за нечто само собой разумеющееся. Ниже будет подробно объяснено, что такое историцизм. Теперь же достаточно будет сказать, что историцизм видит главную задачу социальных наук в историческом предсказании. Задача эта решается, когда в основе исторической эволюции усматривают "ритмы", "схемы", "законы" или "тенденции". Убежден, что именно историцистские концепции ответственны за неудовлетворительное состояние теоретических социальных наук (кроме экономической теории), поэтому

изложение этих концепций не может быть беспристрастным. Но я стремился изложить доктрину историцизма в возможно более выгодном свете, чтобы последующая критика имела смысл. Историцизм представлен как хорошо продуманная и "крепко сшитая" философия, и я без малейшего колебания выдвигал в его пользу аргументы, которых у самих историцистов никогда не было. Надеюсь, что в результате историцизм предстал как позиция, достойная критики. Иначе говоря, я попытался усовершенствовать теорию, которая никогда в достаточной мере не разрабатывалась. Вот почему для нее выбрано несколько непривычное название — "историцизм". Предлагая его, я стремлюсь избежать чисто вербальных недоразумений и надеюсь, что теперь никто не будет спрашивать, действительно ли обсуждаемые аргументы относятся к "историцизму" и каков подлинный смысл этого слова.

Антинатуралистические концепции историцизма

В отличие от методологического натурализма, историцизм утверждает, что физические методы неприменимы к социальным наукам вследствие глубоких различий, существующих между социологией и физикой. Физические законы, или "законы природы", согласно историцизму, истинны (valid) везде и всегда, ибо физическим миром управляет система физических единообразий (uniformities), неизменных на всем протяжении пространства и времени. Социологические же законы, или законы социальной жизни, разнятся в зависимости от места и времени. Хотя, согласно историцизму, существует множество типических регулярно повторяющихся социальных состояний (conditions), регулярности социальной жизни отличаются от непреложных регулярностей физического мира. Они зависят от истории, от различий в культуре, от некоторой частной исторической ситуации. Так, например, говорить о законах экономики без дальнейших уточнений невозможно; следует говорить об экономических законах феодального периода, периода раннего индустриализма и т. д.; надо непременно указывать, о каком историческом периоде идет речь.

Согласно историцизму, большинство методов физики неприменимо к социологии, поскольку социальные законы исторически относительны. Аргументы историцистов, приводимые для обоснования этого взгляда, касаются обобщения, эксперимента, сложности социальных явлений, трудности точного предсказания и значимости "методологического эссенциализма". Рассмотрим их по порядку.

1. Обобщение

Согласно историцизму, в физических науках возможность и успешность обобщения основаны на всеобщем единообразии природы: наблюдения (лучше сказать — предположения) свидетельствуют о том, что в сходных обстоятельствах случаются сходные вещи. Полагают, что этот принцип, который считается истинным в любой точке пространства и в любой момент времени, лежит в основе метода физики.

С точки зрения историцизма, в социологии этот принцип не работает. Сходные обстоятельства существуют только в рамках (within) того или иного исторического периода и не сохраняются при переходе от одного периода к другому. Поэтому долговременного единообразия, на котором могли бы основываться долгосрочные обобщения, в обществе не существует (если не считать тривиальных регулярностей, таких, как "человеческие существа живут группами" или "запас одних вещей ограничен, а запас других, скажем воздуха, неограничен, и только первые могут иметь рыночную или меновую стоимость").

Метод, не считающийся с этим ограничением и обобщающий социальные единообразия, неявно предполагает, что эти регулярности вечны; а методологическое простодушие, уверенное, что социальные науки могут взять из физики метод обобщения,

порождает ложную и опасную, дезориентирующую социологическую теорию. Эта теория отрицает, что общество развивается или сколько-нибудь существенно изменяется; или — что социальные изменения, если они существуют, влияют на важнейшие регулярности социальной жизни.

Ошибочные теории, утверждают историцисты, обычно являются апологитичными; предположение о неизменных социологических законах может быть использовано в ложных целях. Во-первых, это аргумент в пользу том, что неприятные и нежелательные вещи следует принимать за должные, ибо за ними стоят неизменные законы природы. "Необоримые законы" экономики, например, вызываются, подобно духам, для того, чтобы продемонстрировать тщетность государственного регулирования зарплаты. Предположение о "неизменности" можно также употребить для нагнетания общего ощущения "неизбежности", чтобы люди были готовы страдать кротко и не протестуя. Что есть, то всегда и будет, и попытки как-то повлиять на ход событий или даже дать им оценку смехотворны: с законами природы не поспоришь, а борьба с ними может привести к несчастью.

По мнению историциста, это — те консервативные, апологетические и даже фаталистические аргументы, которые необходимо вытекают из требования применить в социологии натуралистические методы.

Согласно же историцизму, социальные единообразия весьма отличаются от единообразий естествознания. Они изменяются от одного исторического периода к другому, и той силой, которая вызывает изменение, является человеческая деятельность.

Социальные единообразия — не законы природы, их создают люди; и вся зависимость от человеческой природы состоит в том, что в ее власти изменить эти единообразия или даже установить над ними контроль. Следовательно, что-то можно улучшить или ухудшить, и энергично проводимая реформа вовсе не обязательно оказывается безрезультатной.

Такие тенденции в историцизме привлекают тех, кто чувствует в себе призвание к активности, к вмешательству, особенно в дела человеческие, тех, кто не хочет мириться с существующим порядком вещей и не считает его неизбежным.

Назовем стремление к активности и неприятие "покоя" активизмом. Более подробно об отношениях историцизма и активизма см. в разделах 17 и 18, а сейчас я позволю себе привести наставление известного историциста Маркса, в котором выражается "активистская позиция": "Философы лишь различным образом объясняли мир но дело заключается в том, чтобы его изменить".

2. Эксперимент

Метод эксперимента состоит в том, чтобы установить искусственный контроль и искусственную изоляцию, обеспечивая тем самым воспроизведение сходных условий и следующих из них определенных результатов. Он основан на той идее, что в результате сходных обстоятельств происходят сходные вещи. Согласно историцизму, в социологии этот метод неприменим. От нем не было бы пользы, даже если бы он был применим в этой области. Ибо, поскольку известные условия существуют только в границах каком-то одном периода, результат любом эксперимента будет иметь весьма ограниченное значение. Кроме того, в области социологии искусственная изоляция исключила бы как раз самые важные факторы. Робинзон Крузо и его индивидуальное хозяйство не могут служить значимой экономической моделью; дело в том, что экономические проблемы являются результатом экономического взаимодействия индивидов и групп.

Историцисты также доказывают невозможность никаких по-настоящему ценных экспериментов.

3. Новизна

Широкомасштабные социологические эксперименты нельзя считать экспериментами в физическом смысле слова. Их целью является не увеличение знания, а достижение политического успеха. И выполняются они не в лаборатории, отгороженной от внешнего мира; напротив, само их проведение влияет на состояние общества. Их никогда нельзя повторить в точности, поскольку предыдущий эксперимент уже изменил начальные условия.

Последний аргумент заслуживает более подробного разбора. Как уже говорилось, историцизм отрицает возможность повторения широкомасштабных социальных экспериментов в условиях, которые были бы в точности подобны предыдущим, поскольку на них воздействует первый эксперимент. В основе этого аргумента лежит идея, что у общества, как у организма, имеется своего рода память, в которой сохраняется его история.

В биологии об истории жизни организма говорят постольку, поскольку организм частично обусловлен прошлыми событиями. Если события повторяются, то они теряют для воспринимающего их организма характер новизны, в них появляется нечто привычное. Именно поэтому восприятие повторившегося события — не то же самое, что восприятие исходного события. Восприятие повторения является новым восприятием. Повторение уже наблюдавшихся событий может поэтому вызывать в наблюдателе новые восприятия. Повторение образует новые привычки, оно сопровождается и новыми привычными условиями. Поэтому сумма всех условий — как внешних, так и внутренних, — при которых мы повторяем эксперимент с организмом, не может походить на условия первого эксперимента так, чтобы можно было говорить о подлинном повторении. Ибо в организме, который учится на опыте, даже точное воспроизведение условий окружающей среды сопровождалось бы новыми внутренними состояниями.

Согласно историцизму, общество тоже воспринимает: у него тоже есть своя история. Быть может, оно учится чересчур медленно на (частичных) повторениях своей истории, но это несомненно происходит в той мере, в какой оно частично обусловлено своим прошлым. В противном случае традиции, традиционная привязанность и неприязнь, доверие и недоверие не играли бы такой важной роли в социальной жизни. Подлинное повторение в социальной истории невозможно. Это означает, что новые события происходят постоянно. История повторяется, однако она никогда не повторяется в точности, особенно если события исторически значимы и оказывают продолжительное воздействие на общество.

В мире, который описывает физика, ничего по-настоящему нового не происходит. Даже в новой машине мы всегда можем увидеть перекомбинацию старых частей. Новизна в физике — это просто иные расположения и перекомбинации. Напротив, социальная новизна, как и биологическая новизна, является новизной подлинной. Это истинная (real) новизна, не сводимая к иному расположению [известных] частей. Ибо в социальной жизни известные факторы, расположенные по-новому, уже не являются теми же самыми старыми факторами.

Так, где ничто в точности не повторяется, всегда возникает новое. Это важно при рассмотрении новых этапов или новых периодов истории, существенно отличающихся от других.

Согласно историцизму, нет ничего более важного, чем возникновение нового периода. Этот аспект социальной жизни нельзя изучать так же, как мы изучаем новизну в области физики, т. е. считать ее иным расположением уже известных элементов.

Применить методы физики к наиболее важным сторонам общества невозможно, эти методы неприменимы к делению общества на периоды и к возникновению новизны. Осознав значимость социальной новизны, мы расстанемся и с мыслью, что применение физических методов к проблемам социологии поможет нам разобраться в проблемах социального развития.

У социальной новизны есть еще один аспект. Как мы видим, каждое частное социальное происшествие (happening), каждое единичное событие в социальной жизни в каком-то смысле является новым.

Конечно, оно относится к тому или иному классу событий, может чем-то их напоминать, но в определенном смысле оно уникально. Что касается социологического

объяснения, то здесь ситуация весьма отличается от той, с которой мы встречаемся в физике. Возможно, анализируя социальную жизнь, мы обнаружим и интуитивно поймем, как и почему произошло то или иное событие; мы ясно поймем причины и следствия — силы, которые вызвали это событие к жизни, и влияние, которое оно оказало на другие события. В то же время мы поймем, что не способны сформулировать общие законы, описывающие причинные связи. Может оказаться, что обнаруженные нами силы правильно объясняют эту и только эту социологическую ситуацию. Да и сами силы могут оказаться уникальными: раз проявившись в этой социальной ситуации, они никогда больше не вступят в действие.

4. Сложность

Методологическая ситуация, которую мы в общих чертах описали, имеет ряд других аспектов. Один из них — роль отдельных уникальных личностей. Другой — сложность социальных явлений. Предмет физики гораздо менее сложен; и несмотря на это, мы еще больше его упрощаем, применяя метод экспериментальной изоляции. Поскольку в социологии метод изоляции неприменим, мы сталкиваемся с двойной сложностью: первая связана с невозможностью искусственной изоляции, а вторая — с тем, что социальная жизнь есть природное явление и предполагает ментальную жизнь индивидов, т. е. психологию, которая, в свою очередь, предполагает биологию, а та предполагает химию и физику.

Занимаемое социологией последнее место в этой иерархии наук указывает на гигантскую сложность факторов, действующих в социальной жизни. Даже если бы социологические единообразия, подобные физическим, существовали, нам вряд ли удалось бы их отыскать в силу этой двойной сложности. А если их невозможно обнаружить, то какой смысл считать, что они существуют?

5. Неточность предсказания

Обсуждая пронатуралистические концепции историцизма, мы обнаружим, что для него предсказание является одной из значимых задач науки. (В этом с ним нельзя не согласиться, хотя я и не верю, что историческое предсказание входит в задачи социальных наук.) Согласно историцизму, социальное предсказание — дело чрезвычайно трудное, и не только в силу сложности социальных структур, но также из-за особо сложной взаимосвязи между предсказаниями и предсказанными событиями.

Мысль о том, что предсказание влияет на предсказанное событие, высказывалась еще в глубокой древности. Легенда гласит, что Эдип убил своего отца, которого никогда раньше не видел, и это было результатом пророчества, когда-то заставившем отца покинуть сына. Поэтому я предлагаю назвать влияние предсказания на предсказанное событие (более широко — влияние информации или единицы информации на ситуацию, к которой эта информация относится) "Эдиповым эффектом", — неважно, способствует оно его предотвращению либо появлению.

В социальных науках такого рода влияние встречается сплошь и рядом, оно еще больше затрудняет точные предсказания и угрожает их объективности. По мнению историцистов, если социальные науки когда-нибудь смогут давать точные научные прогнозы, из этого будут вытекать абсурдные следствия; поэтому это предположение опровергается по чисто логическим основаниям. Будь такой научный социальный календарь создан и доведен до всеобщего сведения (долю скрывать его было бы невозможно), он бы наверняка вызвал действия, которые расстроили бы сделанные предсказания. Положим, предсказано, что цены на акции сначала будут три дня расти, а затем упадут. Ясно, что их следует продавать на третий день; но это вызовет падение цен и фальсифицирует предсказание. Короче говоря, точный и детальный календарь социальных событий есть идея самопротиворечивая; поэтому точные и детальные социальные предсказания невозможны.

6. Объективность и оценка

Говоря о трудностях предсказания в социальных науках, историцизм выдвигает аргументы, основанные на анализе влияния предсказаний на предсказанные события. При определенных обстоятельствах это влияние распространяется и на предсказывающего наблюдателя. Соображения такого рода справедливы даже для физики, где всякое наблюдение основано на обмене энергией между наблюдателем и тем, что он наблюдает; это приводит к недостоверности, как правило ничтожной, физических предсказаний, выражаемой в "принципе неопределенности".

Вполне возможно, что неопределенность есть результат взаимодействия между наблюдаемым объектом и наблюдающим субъектом, поскольку оба принадлежат к одному и тому же физическому миру действия и взаимодействия. Как указал Бор, аналогичная ситуация встречается и в других науках, особенно в биологии и психологии. Но нигде факт принадлежности ученого и его объекта к одному и тому же миру не имеет большего значения, чем в социальных науках. Здесь это приводит (как было показано) к недостоверности предсказания и имеет порой весьма серьезные практические последствия.

В социальных науках мы имеем дело с тесным, а также многообразным взаимодействием между наблюдателем и наблюдаемым, субъектом и объектом.

Осознание того, что существуют тенденции, вызывающие будущее событие, а также что предсказание само воздействует на предсказанные события, по-видимому, отражается на содержании предсказания и может серьезно повлиять на объективность предсказаний и других результатов исследований в социальных науках.

Предсказание — это социальное происшествие (happening), взаимодействующее с другими социальными происшествиями, в том числе с тем, которое предсказывается. Оно может ускорить наступление события, а может оказать на нем и другие влияния.

Если взять крайний случай, оно может даже послужить причиной происшествия, никогда бы не случившемся, не будь оно предсказано. Другая крайность — когда предсказание события приводит к его предотвращению (так что, сознательно или по небрежности воздерживаясь от предсказания, социальный исследователь может вызвать его к жизни или стать причиной его появления). Между этими крайностями имеется множество промежуточных случаев. Как предсказывание, так и воздержание от предсказания может иметь любые [возможные] последствия.

Следует вовремя осознать эти возможности.

Например, можно что-то предсказать, заранее предвидя, что предсказание послужит причиной появления этого "что-то". Или — можно отрицать, что последует какое-то событие, и тем самым его предотвратить. И в том и в другом случае принцип научной объективности не нарушается: социальный исследователь говорит правду и ничего, кроме правды. Но хотя правда и говорится, сама научная объективность при этом не соблюдается; ибо делая прогнозы (которые в дальнейшем подтверждаются), он влияет на события в направлении, лично для нем предпочтительном.

Историцист признает, что картина эта несколько схематична, но будет настаивать, что в ней схвачено нечто весьма существенное для социальных наук.

Взаимодействие между заявлениями ученых и социальной жизнью постоянно порождает ситуации, в которых важна не только истинность высказываний, важно также их влияние на развитие событий.

Социальный исследователь стремится к истине, и в то же время он оказывает определенное влияние на общество. И тот факт, что его высказывания оказывают такое влияние, нарушает их объективность.

До сих пор мы исходили из того, что социальный исследователь стремится найти истину и ничего, кроме истины. Историцист укажет, что и с этим допущением у нас имеются трудности. Если предпочтения и интересы отражаются на содержании научных теорий и предсказаний, то в высшей степени сомнительно, чтобы их можно было выявить и избежать.

Неудивительно, что в социальных науках мало что напоминает объективный и идеальный поиск истины, который мы видим в физике. Сколько тенденций в социальной жизни, столько их и в социальной науке; сколько интересов, столько и точек зрения. Однако не ведет ли эта аргументация к крайней форме релятивизма, согласно которой объективность и идеал истины вообще не имеют никакого отношения к социальным наукам и все решает политический успех?

В качестве иллюстрации историст укажет, что везде, где имеется определенная тенденция, присущая какому-то периоду социального развития, можно найти и социологические теории, влияющие на это развитие. Таким образом, социальная наука выступает в роли акушерки, помогая новым социальным периодам появиться на свет; впрочем, с тем же успехом она может служить и консервативным интересам, задерживая надвигающиеся социальные изменения.

Таким образом, открывается возможность анализа и объяснения различий, существующих между социологическими доктринами и школами, соотнесение их либо с предпочтениями и интересами, преобладающими в какой-то исторический период (иногда этот подход называли "историзмом" — не путать с "историзмом"), либо с политическими, экономическими и классовыми интересами (подход, иногда называемый "социологией знания").

7. Холизм

По мнению большинства истористов, существует более глубокая причина, по которой методы физической науки не применимы к наукам социальным. Социология, как все "биологические" науки, т. е. науки, имеющие дело с живыми объектами, должна быть не атомистической, а, как сейчас творят, "холической" (holistic). Ибо объекты социологии, социальные группы, нельзя рассматривать просто как агрегаты, составленные из личностей. Социальная группа больше простой суммы своих членов и больше суммы личных отношений, существующих в любой данный момент времени между любыми членами группы. Группа из А и Б будет отличаться по своему характеру от группы из Б и В. Это и имеют в виду, когда творят, что у группы имеется своя история, а структура группы во многом зависит от этой истории (см. также выше, раздел 3, "Новизна"). Группа может легко сохраниться, лишившись каких-то не очень важных членов. Вполне вероятно, что группа немало сохранит от своего первоначального характера даже в том случае, если все ее члены будут заменены на другие. Но члены, которые теперь составляют группу, могли бы, наверное, объединиться в совершенно другую группу, если бы не входили в первоначальную группу по порядку, один за другим, а вместо этого образовали новую группу. Личности членов группы могут оказать большое влияние на ее историю и структуру, но это не означает, что у группы нет своей собственной истории и структуры; не означает это и того, что группа не способна существенно повлиять на личности своих членов.

У всех социальных групп есть традиции, институты и обряды. Согласно историзму, мы должны изучать историю группы, ее традиции и институты, если желаем понять и объяснить ее в данный момент, а также если мы желаем понять и, быть может, предвидеть ее развитие в будущем.

Холический характер социальных групп, тот факт, что такие группы нельзя объяснить просто как агрегаты из членов группы, проливает свет на различие истористами новизны в физике (перекомбинации или новые расположения элементов и факторов, самих по себе не новых) и новизны в социальной жизни — подлинной (real) и несводимой к иному расположению. Ибо если социальные структуры нельзя объяснить как комбинации из частей или членов, то понятно, что с помощью этого метода невозможно объяснить и новые социальные структуры.

Что касается физических структур, то их можно объяснить как простые "конstellации" или суммы частей, взятые в их геометрической конфигурации.

Рассмотрим, например, Солнечную систему. Пусть ее история представляет интерес и может пролить свет на теперешнее ее состояние; однако мы знаем, что в определенном смысле это состояние не зависит от истории системы. Структура системы, ее дальнейшие движения и развитие полностью детерминированы "конstellацией" ее элементов в настоящий момент. При данном взаимном расположении, массе и кинетической энергии ее членов все движения системы в любой момент времени полностью определены. Нам не требуется никакого дополнительного знания о том, какая из планет старше других, а какая представляет собой инородное для системы тело; история структуры, хотя она и интересна, никак не влияет на наше понимание поведения, механизма и развития этой структуры в будущем. В этом плане физическая структура значительно отличается от социальной структуры; последняя непонятна, а ее будущее непредсказуемо без тщательного изучения истории, даже если мы располагаем исчерпывающим знанием о ее состоянии в данный момент времени.

Все это заставляет предположить, что существует тесная связь между историцизмом и так называемой биологической, или органической, теорией социальных структур, — теорией, интерпретирующей социальные группы по аналогии с живыми организмами.

Считается, что целостность характерна для всех биологических феноменов, а холистический подход необходим при рассмотрении того, как история организмов влияет на их поведение. Холистические аргументы, выдвигаемые историцизмом, говорят о подобии, которое имеется между социальными группами и организмами, но речь не обязательно идет о биологической теории социальных структур.

С холистическим воззрением тесно связана известная теория группового духа как носителя групповых традиций (впрочем, она не является обязательной частью историцистской аргументации).

8. Интуитивное понимание

До сих пор речь шла об определенных характерных аспектах социальной жизни, таких, как новизна, сложность, органичность, холизм и периодичность, — об аспектах, которые, по мнению историцистов, делают определенные типичные методы физики неприменимыми к социальным наукам. Отсюда выводят, что социальные исследования требуют [применения] исторического метода. В число антинатуралистических воззрений историцизма входит и идея об интуитивном понимании истории различных социальных групп; порой этот взгляд развивают в методологическую концепцию, тесно связанную с историцизмом (хотя и не являющуюся его неизменным спутником).

Согласно этой концепции, метод социальных наук (в противоположность методу естественных наук) состоит в понимании социальных явлений изнутри. В связи с этой концепцией обычно делают следующие противопоставления. Физика стремится к причинному объяснению, социология — к пониманию цели и смысла. В физике события объясняются строго, количественно, с помощью математических формул. Социология стремится постигать исторические события при помощи более качественных понятий, например выявляя конфликтующие тенденции и цели, или "национальный характер", или "дух времени". Вот почему физика оперирует индуктивными обобщениями, а социология прибегает к помощи симпатического воображения. По той же причине физика занимается универсально значимыми единообразиями и объясняет те или иные события как частные случаи таких единообразий, тогда как социология довольствуется интуитивным пониманием уникальных событий и той ролью, которую они играют в частных [ситуациях] борьбы интересов, в тенденциях и судьбах.

Можно различить три варианта концепции интуитивного понимания. Согласно первому, социальное событие понято, когда оно проанализировано с точки зрения вызвавших его сил, т. е. индивидов и групп, их целей или интересов, а также власти, которой они располагают. При этом считается, что действия индивидов или групп находятся в

согласии с их целями и идут им на пользу — реальную или по крайней мере воображаемую. Метод социологии состоит в реконструкции при помощи воображения рациональных или иррациональных деятельностей, направленных к определенным целям.

Второй вариант идет дальше. Он согласен, что подобный анализ необходим — особенно для понимания индивидуальных или групповых деятельностей. Но для понимания социальной жизни он недостаточен. Чтобы понять смысл социального события, например, какого-то политического действия, недостаточно понять его телеологически, т. е. разобраться в том, как и почему оно произошло.

Прежде и помимо этого, мы должны понять его смысл, значимость его появления. Что имеется в виду под "смыслом" и "значимостью"? С точки зрения том, что я называю вторым вариантом, социальное событие не только оказывает воздействия определенного рода, оно не только приводит к другим событиям; само его возникновение изменяет ситуационную значимость ряда других событий. Новая ситуация требует переориентации и переинтерпретации всех объектов и действий, в нее вовлеченных.

Чтобы понять такое событие, как, скажем, создание в стране новой армии, необходимо проанализировать намерения, интересы и т. д. Но мы не можем полностью понять его смысл, не проанализировав его ситуационного значения (value). Скажем, до сей поры вооруженных сил страны было достаточно для обороны, а теперь они оказались неудовлетворительными. Изменилась вся в целом социальная ситуация, и даже до того, как произошли какие-либо фактические изменения — физические или даже психологические; ибо ситуация может измениться много раньше, чем это кто-либо заметит. Таким образом, чтобы понять социальную жизнь, мы должны выйти за пределы анализа фактических причин и следствий, т. е. вызванных действиями мотивов, интересов и реакций; нам следует понять каждое событие как часть целого. Значение события обусловлено тем, как оно влияет на целое, и поэтому частично определяется целым.

Третий вариант концепции интуитивного понимания включает в себя все, что содержат первые два варианта. Чтобы понять смысл или значение социального события, недостаточно проанализировать его генезис, последствия и ситуационное значение. Следует выявить объективные, лежащие в основе истории направления и тенденции (например, усиление или ослабление каких-то традиций или власти), превалирующие в данный период, и роль рассматриваемого события в историческом процессе, через который эти тенденции проявляются. Мы ничего не поймем в деле Дрейфуса, исследуя его причины, последствия и ситуационное значение, но оставляя без внимания то, что в нем проявилось соперничество двух исторических тенденций в развитии Французской республики: демократической и авторитарной, прогрессивной и реакционной.

Третий вариант метода интуитивного понимания, говорящий об исторических направлениях или тенденциях, является в какой-то степени заключением по аналогии, от одного исторического периода к другому. Ибо, хотя и признается, что исторические периоды существенно отличаются друг от друга и никакое событие [в рамках одного периода социального развития] не может повториться в рамках другого периода, допускается, что в различные периоды, порой очень удаленные друг от друга, могут доминировать аналогичные тенденции. Наличие таких сходств или аналогий отмечается, например, между Грецией до Александра и Южной Германией до Бисмарка. Согласно методу интуитивного понимания, мы оцениваем смысл тех или иных событий, сравнивая их с аналогичными событиями более ранних периодов, и тем самым облегчаем предсказание будущего, — никогда не забывая, впрочем, о неизбежных различиях между периодами.

Итак, метод, нацеленный на понимание смысла социальных событий, должен идти много дальше причинного объяснения. Он должен быть холистическим и определять роль социального события в сложной структуре — в том целом, которое включает не только "современные" части? но и следующие друг за другом стадии временного развития. Третий вариант метода интуитивного понимания опирается на аналогии, существующие между организмом и группой, и оперирует такими идеями, как "сознание" или "дух" эпохи, полагая

их источником и властелином исторических тенденций или направлений, которые столь важны для определения смысла социологических событий.

Метод интуитивного понимания согласуется не только с идеями холизма. Он хорошо согласуется и тем, что историцисты говорят о новизне; ибо новизну нельзя объяснить причинно или рационально, она постигается интуитивно. Обсуждая ниже пронатуралистические концепции историцизма, мы увидим, как тесно они связаны с "третьим вариантом" метода интуитивного понимания, с его историческими тенденциями или "направлениями". (См., например, раздел 16.)

9. Количественные методы

Одно в противоположностях и противопоставлениях, подчеркиваемых в связи с концепцией интуитивного понимания, повторяется особенно часто. В физике события объясняются строго и точно, с использованием количественных понятий и математических формул, — социология же пытается понять историческое развитие в качественных понятиях, например, через конфликтующие тенденции и цели.

Против применения количественных и математических методов выступают не только историцисты; собственно говоря, обличением этих методов занимаются даже авторы, придерживающиеся антиисторицистских взглядов. Но некоторые наиболее убедительные доводы, выдвигаемые против количественных и математических методов, хорошо обрисовывают точку зрения историцизма, поэтому и имеет смысл их здесь обсудить.

Когда мы встречаемся с возражениями против применения в социологии количественных и математических методов, на ум приходят факты их успешного использования в некоторых социальных науках. Как же в свете этого можно отрицать их применимость?

Приведем характерные для историцистов контрвозражения.

Вполне согласен, скажет историцист, с вашими замечаниями; но все же статистические методы социальных наук и количественно-математические методы физики весьма отличаются друг от друга. В социальных науках нет ничего, что можно было бы сравнить с математически сформулированными причинными законами физики.

Рассмотрим, к примеру, физический закон (для света с любой длиной волны): чем уже отверстие, через которое проходит световой луч, тем больше угол отклонения. Физический закон такого типа имеет форму: "При определенных условиях, если величина А изменяется определенным способом, то величина В также изменяется некоторым предсказуемым способом". В этом законе выражается зависимость одного измеримого количества от другого, причем сделано это в точных количественных понятиях. Физика успешно выражает в такой форме все свои законы. Чтобы достигнуть этого, она должна была представить физические качества в количественных понятиях. Например, необходимо было заменить качественное описание цвета, скажем яркого желто-зеленого, его количественным описанием как света определенной длины волны и определенной яркости. Количественное описание физических качеств — необходимая предпосылка количественной формулировки причинных физических законов. Это позволяет нам объяснить, почему что-либо происходит; например, если имеется закон, касающийся отношения между шириной отверстия и углом отклонения, мы можем дать причинное объяснение увеличению угла отклонения, приняв во внимание уменьшение величины отверстия.

Причинное объяснение, по мнению историциста, следует применить и в социальных науках. Например, империализм можно объяснить в терминах промышленной экспансии. Но даже из этого примера становится ясно, насколько безнадежны попытки выразить социологические законы в количественных понятиях. Возьмем такую формулировку, как "тенденция к территориальной экспансии возрастает с увеличением интенсивности индустриализации" (формулировку по крайней мере вразумительную, хотя, вероятно, и не являющуюся истинным описанием фактов), и мы обнаружим, что у нас нет метода

измерения тенденции к экспансии или интенсивности индустриализации.

Подытоживая исторические аргументы, направленные против количественно-математических методов, можно сказать, что задачу социолога-историка видят в отыскании причинного объяснения исторических изменений с помощью таких социальных реальностей (entities), как, например, государство, экономическая система или форма правления. Поскольку не известно, как выражать качества этих реальностей в количественных понятиях, невозможно сформулировать и какие-либо количественные законы. Таким образом, причинные законы в социальных науках, если они вообще существуют, отличаются по своему характеру от соответствующих законов физики, будучи качественными, а не количественными и математическими.

Если социологические законы и определяют степень чего-либо, то используют при этом весьма неопределенные понятия и в лучшем случае дают очень грубую оценку (scaling).

Получается, что качества — физические или не-физические — можно оценить только интуитивно. Следовательно, это говорит в пользу метода интуитивного понимания.

10. Эссенциализм versus номинализм

Качественный характер социальных событий ставит проблему статуса понятий, обозначающих качества, иначе говоря — проблему универсалий, одну из древнейших и фундаментальнейших философских проблем.

Основная борьба вокруг этой проблемы велась в Средние века, а поставлена она еще у Платона и Аристотеля. Обычно она истолковывается как чисто метафизическая; но, подобно большинству метафизических проблем, ее можно переформулировать в проблему научного метода. Нас будет занимать здесь только эта методологическая сторона, что же касается метафизики, то ее мы рассмотрим лишь в качестве введения, своем рода кратком очерка.

Во всякой науке имеются понятия, называемые универсальными, такие, как "энергия", "скорость", "углерод", "белизна", "эволюция", "справедливость", "государство", "человечество". Они отличаются от единичных или индивидуальных понятий, таких, как "Александр Великий", "Комета Галлея", "Первая мировая война". Это имена собственные, ярлыки, условно прикрепляемые к индивидуальным вещам, которые они обозначают.

Природа универсальных понятий обсуждалась долго и порой резко. Одна партия считала, что универсалии отличаются от имен собственных, будучи закреплены за членами множества или класса единичных вещей, а не за одной единичной вещью. Например, универсальное понятие "белый" — не более чем ярлык, прикрепленный к множеству самых разнообразных вещей — скажем, к снежинкам, скатертям или лебедям. Таково было учение номиналистической партии. Ему противостояло учение, традиционно называвшееся реализмом. Реалистическую теорию называли также идеалистической, поэтому "реализм" следует считать наименованием, которое вводило людей в заблуждение. Предлагаю поэтому переименовать эту антиноминалистическую теорию и называть ее эссенциализмом. Эссенциалисты отрицают, что вначале собирается группа из единичных вещей, а затем она обозначается словом "белые"; скорее, говорят они, мы называем каждую единичную белую вещь белой, имея в виду определенное присущее ей свойство, которое она разделяет с другими белыми вещами, а именно свойство белизны. Это свойство, обозначаемое универсальным понятием, является объектом, который заслуживает исследования в такой же степени, как и индивидуальные вещи.

(Реализмом же эту теорию называли потому, что универсальные объекты, например белизна, как утверждалось, "реально" существуют помимо и сверх единичных вещей, а также множеств и групп из единичных вещей.) Таким образом, универсальные понятия обозначают универсальные объекты, а единичные понятия обозначают индивидуальные вещи. Эти универсальные объекты (Платон называл их формами или идеями), обозначаемые универсальными понятиями, назывались также сущностями (essences).

Эссенциализм отличается не только тем, что верит в существование универсалий (т. е.

универсальных объектов), он также подчеркивает их значимость для науки. У единичных объектов, указывает он, мною случайных черт, которые не представляют научного интереса. Приведем пример: экономика занимается проблемой денег и кредита, но ее ничуть не заботит форма монет, банкнот или чеков. Отбрасывая случайное, наука проникает в сущность вещей. А сущность чем бы то ни было всегда универсальна.

Последние замечания указывают на методологические следствия, вытекающие из этой метафизической проблемы. Методологический вопрос, по сути дела, не зависит от вопроса метафизического. Мы подойдем к нему, избегая вопроса о существовании и различии универсальных и типичных объектов.

Обсудим то, что относится к целям и средствам науки.

Школа методологического эссенциализма основана Аристотелем, который учил, что научное исследование должно проникать в сущность вещей.

Методологические эссенциалисты формулируют научные проблемы следующим образом: "что такое материя?", "что такое сила?", "что такое справедливость?" Ответ на эти вопросы, раскрывающий реальный, или сущностный, смысл терминов, а значит, реальную, или истинную, природу сущностей, которые они обозначают, является необходимой предпосылкой научного исследования, если не главной его задачей. Методологические номиналисты формулируют проблемы иначе: "как ведет себя данный кусочек материи?" или "как он движется в присутствии других тел?" С их точки зрения, задачей науки является описание того, как ведут себя вещи, и мы вольны вводить новые понятия там, где это выгодно, пренебрегая их первоначальным смыслом.

Ибо слова — всем лишь полезные инструменты описания.

По общему признанию, в естествознании методологический номинализм одержал победу. Физик не станет спрашивать о сущности атомов или света, для него эти понятия служат для объяснения и описания определенных физических наблюдений, а также как имена важных и сложных физических структур. В биологии дела обстоят точно так же.

Иногда от биологов требуют решения таких проблем, как "что такое жизнь?" или "что такое эволюция?", и они даже могут почувствовать склонность пойти навстречу этим требованиям философов. Однако в целом научная биология занимается другими проблемами и пользуется объяснительными и описательными методами, весьма сходными с физическими.

Таким образом, в социальных науках методологические натуралисты склонны к номинализму, а антинатуралисты — к эссенциализму. Но эссенциализм, по-видимому, одерживает победу; он даже не сталкивается со сколько-нибудь энергичной оппозицией. Считается, что если методы естественных наук носят фундаментально номиналистический характер, то социальная наука должна занять позицию методологического эссенциализма. Задача социальной науки — понять и объяснить такие социологические реальности (entities), как государство, экономическое действие, социальная группа и т. д., а это можно сделать, только проникая в их сущность. Всякая социологическая реальность предполагает для своего описания универсальные понятия, и нет никакой нужды вводить новые понятия, что с таким успехом делалось в естественных науках.

Задача социальной науки — описывать реальности ясно и правильно, т. е. различая существенное и случайное; но для этого необходимо знать их сущность. Такие проблемы, как-то "что такое государство?", "что такое гражданин?" (которые Аристотель считал основными проблемами своей "Политик"), или "что такое кредит?", или "в чем существенное различие между церковником и сектантом (или между церковью и сектой)?", — не просто законны, это именно те вопросы, на которые призваны отвечать социологические теории.

Историцисты относятся к метафизике, а также к методологии естествознания по-разному, однако ясно, что, если речь пойдет о методологии социальной науки, они будут выступать за эссенциализм и против номинализма. Такой позиции придерживаются почти все историцисты, которых я знаю. В чем тут дело? Только ли в общей антинатуралистической тенденции историцизма или в каких-то особых историцистских

аргументах, которые выставляются в защиту методологического эссенциализма?

К ним, разумеется, относится аргумент, выдвигаемый против использования в социальной науке количественных методов. Идея качественного характера социальных событий и роли интуитивного понимания (а не просто описания) указывает на тесную связь с эссенциализмом.

Имеются и другие, более типичные для историцизма аргументы, следующие направлению мысли, которое уже знакомо читателю. (Это практически те же аргументы, которые, по мнению Аристотеля, привели Платона к его теории сущностей.)

Историцизм подчеркивает значимость изменения. Во всяком изменении есть то, что изменяется.

И даже если ничто не остается неизменным, мы все-таки должны определить, что же именно изменилось, чтобы можно было вообще говорить об изменении. В физике это достигается сравнительно легко. В механике, например, все изменения суть движения, т. е. изменения, происходящие с физическими телами в пространстве и времени. Социология, занимающаяся главным образом социальными институтами, сталкивается с большими трудностями, которые связаны с идентификацией институтов после того, как они претерпели изменение. В дескриптивном смысле социальный институт до изменения и после изменения нельзя считать тем же самым; с точки зрения описания он может оказаться совершенно другим. Например, описание современных правительственных учреждений в Великобритании обнаружит, что они очень отличаются от тех, что были четыре столетия назад. И все же мы можем сказать, что правительство остается в сущности одним и тем же, пусть даже оно изменяется.

Функция правительства в современном обществе по существу аналогична функции, которую оно выполняло прежде. И хотя черты его изменились, оно сохранило свою сущностную идентичность, что позволяет нам считать один институт измененной формой другого института: мы не можем говорить об изменении или развитии, не предполагая, что существует неизменная сущность, а значит, не рассуждая как методологические эссенциалисты.

Некоторые социологические понятия, такие, как депрессия, инфляция, дефляция и т. д., вводились чисто номиналистическим образом. Но им так и не удалось сохранить своего номиналистического характера. Изменяются условия, и социальные исследователи начинают обсуждать, следует ли считать некоторые феномены подлинной инфляцией или нет; таким образом, ради точности необходимо исследование сущностной природы (или сущностного смысла) инфляции.

О любой социальной реальности можно сказать, что она "может, если это касается ее сущности, находиться в любом другом месте и в любой другой форме, и она может, подобно этому, измениться, оставаясь при этом фактически неизменной, или может измениться мнимым образом, не так, как она действительно изменяется" (Гуссерль). Мету возможных изменений нельзя ограничить *a priori*.

Невозможно сказать, насколько социальная реальность может измениться, оставаясь при этом той же самой реальностью. Феномены, с одних точек зрения кажущиеся существенно различными, с других точек зрения кажутся существенно тождественными.

Из приведенных историцистских аргументов следует, что описание социальном развитии невозможно; или даже что социологическое описание никогда не может носить "номиналистического" характера. А если социологическое описание не может обойтись без сущностей, то еще менее к этому способна теория социального развития. Ибо кто же будет отрицать, что такие проблемы, как определение и объяснение характерных черт социального периода, присущих ему напряжений и внутренних тенденций и направлений, не поддаются решению с помощью номиналистических методов?

Соответственно, в основу методологического эссенциализма может быть положен историцистский аргумент, который в свое время привел Платона к метафизическому эссенциализму, — Гераклитов тезис, что изменяющиеся вещи не поддаются рациональному

описанию. Поэтому наука, или знание, предполагает нечто, что не изменяется, остается тождественным себе, — сущность. История, т. е. описание изменения, и сущность, т. е. то, что остается неизменным в [процессе] изменения, выступают здесь как соотносительные понятия. Эта соотносительность имеет еще одну сторону: ведь в каком-то смысле и сама сущность способна изменяться и тем самым может обладать историей. Если принцип вещи, остающийся тождественным или неизменным, когда сама вещь изменяется, и составляет ее сущность (идею, форму, природу, субстанцию), то изменения, которые происходят с вещью, высвечивают различные стороны, аспекты или возможности вещи, а следовательно, и ее сущности. Соответственно, сущность можно понимать как сумму или источник присущих вещи потенций, а изменения (или движения) — как реализацию или актуализацию скрытых потенций сущности. (Этой теорией мы обязаны Аристотелю.) Отсюда следует, что вещь, т. е. ее неизменную сущность, можно познать только через ее изменения.

Если, например, мы хотим узнать, не из золота ли сделана какая-то вещь, мы должны ее распилить или подвергнуть химическому анализу, тем самым вынуждая вещь к изменению и раскрывая какие-то из ее скрытых потенций. Точно так же сущность человека, его личность, познается только через его биографию. Применяя этот принцип к социологии, мы приходим к заключению, что сущность, или истинный характер, социальной группы может обнаружить себя только в своей истории. Но, если мы можем изучать социальные группы, только учитывая их историю, понятия, используемые для их описания, должны быть историческими понятиями; и действительно, такие социологические понятия, как японское государство, итальянская нация или арийская раса, трудно интерпретировать иначе, как понятия, в основе которых лежит изучение истории.

Это относится и к социальным классам: понятие буржуазии, например, можно определить только через ее историю; буржуазия — это класс, пришедший к власти в результате промышленной революции, победивший землевладельцев, борющийся с пролетариатом, а пролетариат с ним и т. д.

В пользу эссенциализма творит то, что благодаря ему мы видим тождественное в изменяющихся вещах; он также выдвигает сильные аргументы в поддержку концепции, согласно которой социальные науки должны применять исторический метод; иначе говоря — в поддержку историцизма.

Пронатуралистические концепции историцизма

Хотя историцизм в основном антинатуралистичен, он не отрицает общности в методах физической и социальной науки. Дело в том, что историцисты, как правило, придерживаются той точки зрения (которую я разделяю), что социология, как и физика, должна быть одновременно и теоретическим, и эмпирическим знанием.

Когда мы говорим, что социология является теоретической дисциплиной, то имеем в виду, что она должна объяснять и предсказывать события с помощью теорий или универсальных законов. Именуя социологию эмпирической дисциплиной, мы подразумеваем, что в ее основе должен лежать опыт; что события, которые она объясняет и предсказывает, являются наблюдаемыми фактами, а любая теория принимается или отвергается в зависимости от наблюдения. Под успехами в физике имеются в виду успехи ее предсказаний; можно также сказать, что успешные физические предсказания являются, по сути дела, эмпирическим подтверждением ее законов. Точно так же успехи социологии состояли бы в основном в подтверждении ее предсказаний. Отсюда следует, что некоторые методы — предсказание с помощью законов и проверка законов через наблюдения — применяются и в физике, и в социологии.

С этим взглядом я совершенно согласен, хотя он и историцистский, Не согласен я с

некоторыми выводами, которые из него делают. Вначале эти идеи могут показаться прямыми следствиями очерченного общего взгляда. Однако в действительности в них содержится нечто другое, а именно антинатуралистические концепции историцизма, еще точнее концепция исторических законов или тенденций.

11. Сравнение с астрономией

Долгосрочные и крупномасштабные прогнозы.

Большое впечатление на современных историцистов произвела теория Ньютона, особенно ее успешные предсказания, касавшиеся расположения планет. Тем самым, утверждают они, возможность долгосрочных предсказаний доказана, а значит, древние мечты о прорицании отдаленном будущем вполне осуществимы с помощью человеческого разума. К тем же высотам должны стремиться и социальные науки. Если астрономия способна предсказывать затмения, то почему бы социологии не предсказывать революции?

Хотя мы и должны стремиться к покорению высот, добавит историцист, не стоит забывать, что социальные науки не могут надеяться на ту точность, которая присуща астрономическим прогнозам. Точный научный календарь социальных событий, сравнимый, скажем, с навигационной картой, логически невозможен (см. разделы 5 и 6). Даже если революции и можно предсказывать, ни одно предсказание такого рода не может быть точным; всегда остается какая-то неопределенность — как в деталях, так и во времени наступления события.

Признавая, даже подчеркивая неудовлетворительность социологических предсказаний, их неточность в деталях и датах, историцисты настаивают на том, что изъяны искупаются широтой и значимостью этих предсказаний. Недостатки возникают главным образом из-за сложности социальных событий, взаимосвязей и качественного характера социологических понятий. Проигрывая в точности, социальная наука выигрывает в богатстве и широте смысла, которые ей придают "качественные" понятия. Приведу примеры: "столкновение культур", "процветание", "солидарность", "урбанизация", "полезность".

Долгосрочные предсказания, неточность которых искупается их масштабом и значимостью, я предлагаю называть предсказаниями широкого масштаба, или крупномасштабными прогнозами. С точки зрения историцизма, именно такими предсказаниями и должна заниматься социология.

Конечно, крупномасштабные прогнозы — долгосрочные, охватывающие широкую область событий и, наверное, не совсем точные — возможны. Примеры важных и в высшей мере успешных крупномасштабных предсказаний можно найти в астрономии.

Это и предсказание активности солнечных пятен на основе периодических законов (важное для понимания климатических различий), и предсказание суточных и сезонных изменений в степени ионизации верхних слоев атмосферы (важное для радиосвязи). Они похожи на предсказания солнечных затмений в той мере, в какой говорят о событиях отдаленного будущего, однако отличаются от них, будучи подчас чисто статистическими и в любом случае не такими точными в деталях, датах и т. п.

Крупномасштабные предсказания небесполезны; и если долгосрочные прогнозы в социальных науках вообще возможны, ясно, что они должны быть крупномасштабными. С другой стороны, из нашего изложения антинатуралистических концепций историцизма следует, что краткосрочные предсказания в социальных науках носят крайне неудовлетворительный характер. Отсутствие точности — очень серьезная проблема, ибо по самой своей природе социальные науки должны иметь дело с датами, с конкретными чертами социальной жизни, ведь предсказания касаются ограниченных, кратких периодов. Предсказание деталей, неточное в отношении самих деталей, — вещь никому не нужная. Так что, если мы заинтересованы в социальных предсказаниях, крупномасштабные прогнозы (одновременно они являются долгосрочными) не только поражают воображение, если сбиваются, но это — единственные прогнозы, стоящие того, чтобы их давать.

12. Наблюдения — базис науки

Базис науки, состоящий из неэкспериментальных наблюдений, всегда в каком-то смысле "историчен".

Это справедливо и в отношении наблюдений, образующих базис астрономии. Астрономические факты зафиксированы в записях, которые делаются в обсерватории. Например, сообщается, что такого-то числа (в такой-то час и такую-то минуту) планета Меркурий наблюдалась г-ном Таким-то в положении таком-то. Иначе говоря, в них дается "перечень событий, расположенных во временном порядке", или хроника наблюдений.

Подобно этому, и базисные наблюдения социологии могут фиксироваться только в виде хроники событий, политических или социальных. Обычно эта хроника социальной жизни называется историей. В таком узком смысле история составляет базис социологии.

Нелепо было бы отрицать важность истории как эмпирического базиса социальной науки. Однако историцизм утверждает нечто большее (и это находится в тесной связи с отрицанием применимости экспериментального метода), а именно, что история, политическая и социальная, есть единственный эмпирический источник социологии. Таким образом, для историциста социология — это теоретическая и эмпирическая дисциплина, эмпирическим базисом которой является хроника фактов истории, а целью — составление прогнозов, предпочтительно крупномасштабных. Эти прогнозы также являются историческими, поскольку их опытная проверка, подтверждение или опровержение, должны быть оставлены на суд истории. Таким образом, [составление] крупномасштабных исторических прогнозов и их проверка входят в задачи социологии в ее историцистском понимании. Короче говоря, с точки зрения историциста, социология является теоретической историей.

13. Социальная динамика

Аналогия между социальной наукой и астрономией может быть продолжена. Историцисты обычно обращаются к небесной механике, основанной на динамике — теории движений как результата действия сил. Подобно этому, и социология должна быть основана на динамике, теории социального движения как результата действия социальных (или исторических) сил.

Физик знает, что статика есть абстракция от динамики; это теория о том, как и почему при определенных обстоятельствах ничего не случается, т. е. почему не происходит изменения; и объясняется это равенством противодействующих сил. Динамика же берет более общий случай, т. е. силы и равные и неравные, — это теория о том, как и почему что-либо происходит. Таким образом, динамика снабжает нас реальными, универсально истинными (valid) законами механики; ибо природа — это процесс, она движется, изменяется, развивается, пусть иногда и очень медленно, почти незаметно.

Аналогия между динамикой и историцистским пониманием социологии очевидна и в дальнейших комментариях не нуждается. Однако историцист укажет нам и на более глубокое сходство между ними. Социология родственна динамике, потому что по сути своей является причинной теорией; в общем виде причинное объяснение есть объяснение того, как и почему случаются те или иные вещи. Такое объяснение всегда содержит исторический элемент.

Если вы спрашиваете человека, сломавшего ногу, как и почему это произошло, вы ждете от него истории происшествий. Но уже на уровне теоретического мышления и особенно на уровне теорий, позволяющих делать предсказания, необходим исторический анализ причин случившегося события. Скажем, проблема происхождения или сущностных причин войны требует именно исторического причинного анализа.

В физике такой анализ сводится к определению взаимодействующих сил, т. е. в решении этой задачи прибегают к помощи динамики; с точки зрения историчиста, так должна поступать и социология. В ее задачу должен входить анализ сил, ответственных за социальное изменение и творящих человеческую историю. Из динамики мы знаем, что при взаимодействии сил возникают новые силы; и наоборот, анализируя действие сил и выявляя составляющие их элементы, мы проникаем в фундаментальные причины происходящих событий. Подобно этому, историчизм требует признать фундаментальную значимость исторических сил, духовных или материальных, например — религиозных или этических идей или экономических интересов. Анализировать, распутывать клубок конфликтующих тенденций и сил, проникать к их корням, к универсальным движущим силам и законам социального изменения — такова, в понимании историчизма, задача социальных наук. Только таким способом развивается теоретическая наука и делаются крупномасштабные прогнозы, подтверждение которых означало бы, что социальная теория достигла успеха.

14. Исторические законы

Итак, для историчиста социология является теоретической историей. Ее научные прогнозы основаны на законах, а поскольку это исторические прогнозы, говорящие о социальном изменении, они основываются на исторических законах.

В то же время, по мнению историчиста, метод обобщения неприменим в социальной науке, а единообразия социальной жизни не следует считать неизменно истинными в любой точке пространства и в любой момент времени, поскольку они ограничены определенным культурным или историческим периодом. Таким образом, социальные законы — если они существуют — имеют несколько иную структуру, чем обычные обобщения, основанные на единообразиях. Истинность реальных социальных законов является "всеобщей". Это означает, что они приложимы ко всей в целом человеческой истории, охватывая не просто отдельные периоды, но все периоды [из которых она состоит]. Но социальных единообразий, истинных за рамками единичных периодов, не существует. Таким образом, единственными универсально истинными законами следует считать законы, соединяющие следующие друг за другом периоды. Это должны быть законы исторического развития, определяющие переход от одного периода к другому. Именно это и имеют в виду историчисты, утверждая, что единственными реальными законами социологии являются исторические законы.

15. Историческое пророчество versus социальная инженерия

Как отмечалось, исторические законы (в том случае, если они будут найдены) позволили бы предсказывать весьма отдаленные события, пусть и не достигая точности в деталях. Таким образом, концепция, согласно которой социологические законы являются законами историческими (вывод из того, что истинность социальных единообразий является ограниченной), возвращает нас к идее "крупномасштабных прогнозов". Последняя становится более конкретной, теперь ясно, что такие прогнозы являются по своему характеру историческими пророчествами.

Таким образом, социология пытается решить древнюю проблему прорицания, и не столько в отношении индивидов; ее интересуют группы и все человечество в целом. Социология — наука о грядущем, о надвигающемся развитии событий. И если бы политическое научное предвидение имело успех, социология доказала бы свою величайшую ценность, особенно для тех политиков, кто живет не сегодняшним днем, для людей с чувством исторической судьбы. Правда, некоторые историчисты не идут дальше предсказания ближайших шагов на пути человеческого паломничества, и даже это делают с чрезвычайной осторожностью. Одна идея, впрочем, объединяет всех. Это идея о том, что с помощью социологическом исследования мы можем увидеть политическое будущее и что тем самым социология становится важнейшим инструментом дальновидной практической

политики.

С прагматической точки зрения, значимость научных предсказаний несомненна. Заметим, что в науке имеются два вида предсказаний и соответственно два вида практичности. Например, мы предсказываем (а) приближение тайфуна. Это предсказание имеет немалую практическую ценность, позволяя людям укрыться от ненастья. Мы можем также предсказать (б), что укрытие выдержит напор стихии, будучи сконструировано определенным образом, например, имея на северной стороне железобетонный контрфорс.

Эти два вида предсказаний очень отличаются друг от друга, хотя оба важны и осуществляют давние мечты человечества. В одном случае речь идет о событии, предотвратить которое не в наших силах.

Назовем такое предсказание пророческим. Его практическая ценность заключается в том, что оно предупреждает нас о надвигающемся событии, и мы можем либо уклониться от него, либо подготовиться к встрече с ним (используя предсказания другого вида).

Предсказания второго вида можно назвать технологическими, поскольку они образуют базу для инженерии. Это конструктивные предсказания, они знакомят нас с шагами, которые мы можем предпринять, если желаем достигнуть определенных результатов. Большая часть предсказаний в физике (астрономия и метеорология составляют исключение) являются технологическими предсказаниями.

Различие этих двух видов предсказания приблизительно соответствует роли в науке спланированного эксперимента и обычного терпеливого наблюдения.

Экспериментальные науки дают технологические предсказания, в то время как науки, занимающиеся главным образом неэкспериментальными наблюдениями, высказывают предсказания-пророчества.

Мне бы не хотелось быть понятым в том смысле, что все науки, или даже все научные предсказания, в основе своей являются практичными — что они носят либо пророческий, либо технологический характер и просто не могут быть ничем иным. Моей целью было привлечь внимание к этим двум видам предсказания и соответственно двум видам наук.

Термины "пророческий" и "технологический" позволяют мне указать на прагматические черты науки; но это не означает, что прагматическая точка зрения превосходит все остальные и научный интерес замыкается на пророчествах и технологических предсказаниях. Возьмем астрономию, и мы сразу увидим, что ее открытия интересны главным образом с теоретической точки зрения, хотя не лишены и практической ценности; будучи "пророчествами", они сродни предсказаниям метеорологии, практическая ценность которых очевидна.

Заметим, что это различие пророческих и инженерных наук не совпадает с различием, проводимым между долгосрочными и краткосрочными предсказаниями. Хотя большинство инженерных предсказаний краткосрочны, имеются также и долгосрочные технологические предсказания, например, говорящие о ресурсе двигателей. Астрономические пророчества точно так же могут быть либо краткосрочными, либо долгосрочными, а большинство метеорологических пророчеств являются сравнительно краткосрочными.

Как мы увидим, различие пророчества и инженерии и соответствующее различие структур научных теорий исключительно важно для нашего методологического анализа. Необходимо подчеркнуть, что историцисты, вполне последовательно считающие, что социологические эксперименты бесполезны и невозможны, выдвигают аргументы исторического пророчества (касающегося социального, политического и институционального развития) и против социальной инженерии как практической цели социальных наук. Некоторым историцистам идея социальной инженерии, планирования и конструирования институтов с целью торможения социального развития, контроля за ним или его ускорения представляется вполне реальной. Другим это кажется или почти

невозможным, или предприятием, не учитывающим, что политическое планирование, подобно всякой социальной деятельности, находится во власти высших исторических сил.

16. Теория исторического развития

Эти соображения подводят нас к самому центру той аргументации, которую я предлагаю называть историцизмом и которая оправдывает выбор самого слова. Социальная наука — не что иное, как история: таков тезис. Однако это не история в традиционном смысле, не простая хроника исторических фактов. Ее интересует не только прошлое, но и будущее. Социальная наука — это изучение действующих сил и законов социального развития.

Соответственно, ее можно было бы назвать исторической теорией, или теоретической историей, поскольку единственными универсально истинными социальными законами считаются здесь исторические законы — законы процесса, изменения, развития, а не псевдозаконы кажущихся постоянств или единообразий. По мнению историцистов, социологи должны дойти до идеи об общих тенденциях, в русле которых изменяются социальные структуры. Помимо этого, им следует понять причины происходящего процесса, действие сил, ответственных за изменение.

Они должны сформулировать гипотезы об общих тенденциях социальном развитии, чтобы, выводя из этих законов пророчества, люди могли приспособиться к грядущим переменам.

Историцистскую концепцию социологии можно представить с помощью предложенного выше различения двух видов прогноза — и связанном с ним различия двух видов науки. Представим себе методологию (противоположную историцистской), сориентированную на технологическую социальную науку. Она составляла бы основу изучения общих законов и фактов социальной жизни, необходимых для работы всех проводящих реформу социальных институтов. Такие факты несомненно существуют.

Многочисленные известные нам утопические системы, например, нереализуемы просто потому, что не считаются с ними в должной мере. Задачей технологической методологии стала бы разработка средств, помогающих избежать нереальных конструкций. Она была бы антиисторицистской, но ни в коем случае не антиисторичной. Исторический опыт служил бы для нее важнейшим источником информации. Но она не стала бы заниматься поиском законов социального развития. Технологическая методология нацелена на открытие законов, говорящих о границах, в которых мы могли бы конструировать социальные институты или какие-то другие единообразия (хотя таких законов, согласно историцизму, не существует).

Помимо контраргументов, которые уже обсуждались, у историциста есть и другой способ поставить под вопрос возможность и полезность социальной технологии. Допустим, социальный инженер разработал план новой социальной структуры. Этот план и практичен и реалистичен в том смысле, что не противоречит известным фактам и законам социальной жизни; и мы даже можем предположить, что он подкреплен реальным планом преобразования общества. Даже если это так, историцистские аргументы покажут, что данный план не заслуживает серьезного рассмотрения. Он останется нереалистической и утопической мечтой, поскольку не принимает в расчет законов исторического развития. Социальные революции вызываются не рациональными планами, а социальными силами, например — конфликтом интересов. Древние идеи о могущественном правителе-философе, претворяющем в жизнь некие тщательно обдуманые планы, — просто сказка, сочиненная в интересах земельной аристократии.

Демократическим эквивалентом этой сказки является предрассудок, согласно которому людей доброй воли можно убедить с помощью рациональных аргументов в том, чтобы они приняли участие в запланированном действии. История показывает, что социальная реальность ничего общего с этим не имеет. Теоретические конструкции, даже самые прекрасные, никогда не определяют ход исторического развития, хотя и могут оказать на

него какое-то влияние наряду с другими не столь рациональными (или даже иррациональными) факторами. И даже если рациональный план совпадает с интересами влиятельных групп, он никогда не осуществляется в том виде, как был задуман, несмотря на то, что борьба за него становится решающим фактором исторического процесса. Реальный результат всегда отличается от рациональных конструкций, являясь равнодействующей соперничающих сил. Кроме того, результат рационального планирования всегда оказывается непрочной структурой, ибо баланс сил постоянно изменяется. Социальная инженерия, какой бы реалистичной и научной она ни была, обречена оставаться утопической грезой.

Пока что, скажет историк, аргументация была направлена против практической возможности социальной инженерии, а не против идеи теоретической социальной науки. Однако она относится и к теоретической социальной науке технологического характера. Мы видим, что практическая инженерия обречена на неудачу. Причиной тому служат важные социологические факты и законы. Дело не в непрактичности, а теоретической несостоятельности такого рода затей, не замечающих единственно важных социальных законов — законов развития.

Не учитывает этих законов и "наука", на которой они основываются. В противном случае она никогда бы не выдвигала столь нереалистических конструкций. Любая социальная наука, которая не учит о том, что рациональная социальная конструкция невозможна, остается слепой в отношении важнейших фактов социальной жизни и не замечает единственно истинных и значимых социальных законов. Поэтому социальные науки, стремящиеся составить основу для социальной инженерии, не могут быть истинным описанием социальных фактов. Они вообще невозможны.

Историк утверждает, что, помимо этой главной линии критики, имеются и другие основания для того, чтобы технологические социологии были отвергнуты. Например, они с пренебрежением относятся к таким аспектам социального развития, как новизна. Идея рационального, на базе науки, конструирования новых социальных структур предполагает, что новый социальный период можно создать приблизительно в том виде, как он планировался. Однако, если план основан на науке, игнорирующей [важнейшие] социальные факты, можно будет объяснить только новизну иного расположения [частей], но не существенно новые черты (см. раздел 3). Известно, однако, что новизна нового периода является подлинной и существенной, и этот аргумент превращает любое детальное планирование в пустое занятие, а любую науку, на которой оно основывается, делает неистинной.

Эти исторические соображения относятся ко всем социальным наукам, включая экономику.

Экономика, таким образом, не может давать никакой информации, касающейся социальной реформы.

Только псевдоэкономика занимается поиском оснований для рационального экономического планирования. Что касается экономики как науки, то она выясняет движущие силы экономического развития в различные исторические периоды. Благодаря ей мы сможем увидеть очертания будущих периодов, но она не станет разрабатывать и осуществлять детальный план нового периода. Что верно для всех социальных наук, то должно быть верным и для экономики. Ее конечной целью может быть только открытие "экономического закона движения человеческого общества" (Маркс).

17. Социальное изменение: интерпретация versus планирование

Исторические взгляды на социальное развитие нельзя назвать фаталистическими, не ведут они и к бездействию. Напротив, большинство историков испытывают склонность к "активизму" (см. раздел 1). Согласно историзму, наши желания и мысли, мечты и рассуждения, опасения и знания, наши интересы и наша энергия — все это силы в развитии общества. Дело не в том, что ничего невозможно сделать, а в том, что ни мечты, ни

конструкции разума никогда не претворяются согласно плану. И эффективны только те планы, которые совпадают с главным течением истории.

Совершенно ясно, какого рода деятельность историцисты считают разумной. Разумна та деятельность, которая не противоречит и даже способствует предстоящим изменениям. На научном прогнозе можно основать только одну деятельность — социальное акушерство.

И хотя никакая научная теория не может прямо способствовать деятельности (она может только не рекомендовать какой-то деятельности как нереалистической), косвенным образом она способна вдохновить тех, кто чувствует, что обязан что-то изменить. Историцизм дает нам такого рода вдохновение. Человеческому разуму отводится особая роль; только научное мышление, только историцистская социальная наука способна указать направление разумной деятельности, желающей совпасть с направлением грядущих изменений.

Таким образом, историческое пророчество и интерпретация истории должны стать основой любого продуманного и реалистического социального действия. Интерпретация истории является главной задачей исторического мышления. Все помыслы и действия историцистов обращены к интерпретации прошлого в целях предсказания будущего.

Способен ли историцизм обнадежить или приободрить тех, кто грезит о лучшем мире? Для этого нужно было бы оптимистически смотреть на социальное развитие и верить, что оно в сущности своей "благое" или "рациональное" и ведет к лучшему, более разумному состоянию общества.

Такой взгляд близок к вере в социальные и политические чудеса, отрицая за человеческим разумом силу сотворения более разумного мира. Некоторые влиятельные историцистские авторы с оптимизмом пророчествовали о пришествии царства свободы, в котором человеческие дела можно было бы планировать рационально. Они учили, что переход от царства необходимости, этой доли страданий, к царству свободы осуществится не посредством разума, но с помощью чуда, в силу строгой необходимости, по слепым и непреложным законам развития.

Тем, кто желает, чтобы разум оказывал большее влияние на общественную жизнь, историцист посоветует изучать и интерпретировать историю с целью обнаружения законов ее развития. Если выяснится, что желательные изменения уже близки, тогда эти желания являются разумными. Если же развитие идет в другом направлении, тогда наши желания оказываются совершенно неразумными; историцисты сочтут их просто утопической мечтой. Активизм оправдан только в том случае, когда покоряется предстоящим изменениям и способствует им.

Натуралистический метод, с точки зрения историцистов, предполагает определенную социологическую теорию, согласно которой общество не развивается и не изменяется сколько-нибудь существенным образом. Теперь мы видим, что и историцистский метод предполагает сходную социологическую теорию, согласно которой общество изменяется, но при этом движется по предопределенному и неизменному пути, стадии которого предначертаны непреложной необходимостью. "Когда общество находит естественный закон, определяющий его развитие, даже в этом случае оно не может ни перескочить через естественные фазы своей эволюции, ни выкинуть их из мира росчерком пера. Но кое-что оно может сделать: сократить и облегчить родовые муки". В этих словах, принадлежащих Марксу, прекрасно сформулирована суть историцистской позиции. Историцизм не учит бездеятельности или фатализму, однако утверждает, что любая попытка вмешаться в надвигающиеся изменения тщетна; историцизм — это особая разновидность фатализма, для котором неизбежными выступают тенденции истории. Активистское изречение "Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его" должно понравиться историцистам (слово "мир" обозначает здесь развивающееся человеческое общество), поскольку подчеркивает значимость изменения. Но оно плохо согласуется с важнейшими положениями историцизма. Теперь мы видим, что можно сказать и иначе: "Историцист может только объяснять социальное развитие и помогать ему

различными способами; однако дело, по его мнению, заключается в том, что никто не способен его изменить".

18. Выводы, полученные в результате анализа

В последних своих формулировках, скажут мне, вы нарушили обещание по возможности четко и убедительно описать историцистскую позицию, прежде чем подвергать ее критике. Из них следует, что склонность историцистов к оптимизму или активизму не согласуется с результатами самом историцистского анализа. Таким образом, мы должны обвинить историцизм в непоследовательности. Но разве честно, занимаясь изложением, иронизировать и критиковать?

Не думаю, чтобы этот упрек был справедлив.

Только оптимисты и активисты (и лишь во вторую очередь историцисты) воспримут мои критические замечания как враждебные. (Ведь многих привлекли в историцизме именно оптимизм и активизм.) Что касается историцистов, то для них мои замечания представляют собой не критику историцистских концепций, а критику попыток соединить историцизм с оптимизмом или активизмом.

Как несовместимые с историцизмом критикуются, конечно, лишь некоторые наиболее экстравагантные формы активизма. В отличие от натурализма, историцизм поощряет деятельность, подчеркивая изменение, процесс, движение; конечно, не все виды деятельности он одобряет как оправданные с научной точки зрения; из них многие являются нереалистичными, и их неудачу можно предсказать с помощью науки. Именно поэтому, скажет историцист, и устанавливаются пределы том, что именно считать "полезной" деятельностью; и учитывать наличие этих ограничений необходимо для ясного анализа историцизма. Можно было бы сказать, что цитаты из Маркса (приведенные в предыдущей главе) не противоречат друг другу, но находятся в отношении дополнительности; и если вторая (и более поздняя) цитата кажется слишком "активистской", то подбоающие границы [ее активизму] устанавливает первая цитата; если вторая привлекает сверхрадикальных активистов к историцизму, то первая напоминает о надлежащих границах любой деятельности (даже рискуя утратить симпатии радикалов).

Так что здесь нет никакой нечестности, я просто расчищаю почву в отношении активизма. Точно так же не следует считать враждебной критикой другое мое замечание (что оптимизм историцистов опирается на веру, поскольку разуму отказывают в способности создать лучший мир). Враждебной она покажется только оптимистам или рационалистам.

Для последовательного историциста этот анализ послужит полезным предупреждением против романтического и утопического характера как оптимизма, так и пессимизма, а также рационализма. С точки зрения историцизма, научный историцизм должен быть независимым от таких элементов; существующим законам развития следует просто подчиниться — точно так же, как мы подчиняемся закону тяготения.

Историцист может сделать еще один шаг, добавив, что самым разумным было бы изменение системы ценностей так, чтобы она соответствовали предстоящим переменам. В этом случае мы пришли бы к такой форме оптимизма, согласно которой любое изменение окажется изменением к лучшему, если судить о нем исходя из этой системы ценностей.

Некоторые историцисты не только придерживались такого рода идей, но и развивали их во вполне последовательную (и распространенную) моральную теорию: морально благим является то, что прогрессивно, т. е. то, что обгоняет свое время и соответствует стандартам поведения, которые только еще будут приняты в следующем периоде.

Эта историцистская моральная теория — назовем ее моральным модернизмом или моральным футуризмом (им соответствует эстетический модернизм или эстетический футуризм) — хорошо согласуется с антиконсервативным характером историцизма; ее можно рассматривать и как ответ на вопросы о ценностях (см. раздел 6, "Объективность оценка").

Больше тот, в ней содержится указание на то, что историцизм (исследуемый нами только как методологическая концепция) можно разработать и развить в полновесную философскую систему. Иначе говоря, вполне вероятно, что историцистский метод возник как часть общей философской интерпретации мира.

С точки зрения истории (не логики), методологии обычно являются побочными продуктами философских воззрений. Историцистские философии я рассмотрю в другом месте. Здесь же моей задачей является критика методологических концепций историцизма.

С тех пор вышла моя книга "The Open Society and Its Enemies" (London, 1945; исправленные издания — Princeton, 1950; London, 1952, 1957; четвертое издание — London, 1961).

Критика антинатуралистических концепций

19. Практические цели критики

Является ли истинным мотивом научных исследований желание знать, т. е. чисто теоретическое или "праздное" любопытство, или же наука есть инструмент для решения практических проблем, возникающих в борьбе за жизнь? Нам нет нужды решать здесь этот вопрос. Защитники "чистого", или "фундаментального", исследования заслуживают всяческой поддержки в их борьбе против узкого, но, к сожалению, вновь ставшем популярным взгляда, будто научное исследование оправдано только в том случае, если оказывается удачным вложением средств. Но даже крайний взгляд (к которому лично я склоняюсь), согласно которому наука прежде всего величайшее приключение человеческого духа, вполне сочетается с признанием важности практических проблем и практических проверок для прогресса науки, прикладной или чистой; практика неопределима для научной спекуляции, будучи и шпорой, и уздой.

Не надо быть прагматистом, чтобы оценить слова Канта: "Уступать любому капризу любопытства и разрешать жажде познания быть ограниченной только пределами наших способностей — вот старание ума, которое подобает учености. Но выбирать из бесчисленных возникающих проблем те, решение которых важно для человечества, — эта заслуга принадлежит мудрости".

Справедливость этих слов в отношении биологических и, еще больше, социальных наук очевидна.

Реформа биологических наук проводилась Пастером под стимулирующим воздействием практических (промышленных и сельскохозяйственных) проблем.

Что касается социального исследования, то оно имеет в наше время практическое значение, даже большее, чем исследования рака. Как говорит профессор Хайек, "экономический анализ никогда не был продуктом отстраненного интеллектуального любопытства, интереса к причинам возникновения тех или иных социальных феноменов за ним всегда стояло стремление переделать мир": те социальные науки (кроме экономики), которые не заняли этой позиции, собственной бесплодностью доказывают, как необходима их спекуляциям практическая проверка.

Стимулирующее воздействие практических проблем необходимо и для исследования методов науки, особенно методов обобщающих или теоретических социальных наук. Споры о методе, чтобы быть плодотворными, должны вдохновляться практическими проблемами. Если этого не происходит, их начинает отличать пустая утонченность, которая и создала методологии дурную славу среди исследователей-практиков. Методологические дебаты практического характера не просто полезны, они необходимы. Развивая и совершенствуя метод, как и саму науку, мы учимся на пробах и ошибках и нуждаемся в критике, благодаря которой мы видим собственные ошибки; критика важна еще и потому, что новые методы

могут привести к фундаментальным и революционным изменениям. Примерами служат применение в экономике математических методов или использование в теории стоимости так называемых "субъективных" или "психологических" методов. Из недавних примеров приведем соединение методов теории стоимости со статистическими методами ("анализ спроса"). Эта последняя методологическая революция была отчасти результатом долгих споров и оживленной критики; этот факт не может не вдохновить тех, кто посвятил себя изучению метода.

Многие последователи историцизма надеются с помощью историцистских методов сделать социальные науки мощными инструментом политики.

Именно такое понимание практических задач социальных наук создает основу для дискуссии между историцистами и их оппонентами; моя позиция в этом споре состоит в том, что я считаю историцизм бедным методом, не способным дать результаты, которые он обещает.

20. Технологический подход к социологии

Хотя нашей темой является историцизм, т. е. метод, с которым я не согласен, полезно будет обсудить и успешные методы, чтобы читатель увидел суть моей позиции и точку зрения, лежащую в основе критики. Из соображений удобства назову эти методы "поэлементной" технологией (piecemeal technology).

Понятия "социальной технологии" и "социальной инженерии", о которых пойдет речь в следующем разделе, могут вызвать подозрения и оттолкнуть тех, у кого они вызывают ассоциации с "социальными проектами" коллективистов и "технократов". Поэтому я прибавляю слово "поэлементная" как для устранения нежелательных ассоциаций, так и для того, чтобы выразить убеждение, что это основной путь к практическим результатам как в социальных, так и в естественных науках. Развитие социальных наук в немалой степени обязано критике предложений по социальному усовершенствованию, а точнее — попыткам выяснить, способно ли некоторое экономическое или политическое действие дать ожидаемый или желаемый результат. Именно этот, классический подход я и имею в виду, когда говорю о "поэлементной социальной технологии".

Технологические проблемы в области социальной науки могут носить "приватный" или же "публичный" характер. К первой группе, например, принадлежит техника управления в сфере бизнеса, или влияние условий труда на его производительность.

Ко второй группе можно отнести последствия тюремной реформы, или всеобщего медицинского страхования, или стабилизации цен в судебном порядке, или влияния новых таможенных правил и т. д. на выравнивание доходов; сюда относятся и некоторые неотложные практические вопросы, такие, как возможность контроля за торговым оборотом, или вопрос о том, совместимо ли централизованное "планирование" (в смысле государственного управления производством) с демократическим контролем над администрацией, или — о том, как ввести демократию в Средней Азии.

Практический технологический подход не исключает теоретических проблем, которые возникают в анализе практических проблем. Напротив, на мой взгляд, технологический подход плодотворен именно в применении к чисто теоретическим проблемам.

Кроме того, что технологический подход помогает решить фундаментальную задачу выбора проблем, он дисциплинирует спекулятивные наклонности (легко уводящие, особенно в социологии, в сферу метафизики), поскольку подчиняет теории определенным стандартам, таким, как ясность и практическая проверяемость. Моя позиция в отношении технологического подхода состоит в том, что социология, а может быть, и вообще все социальные науки должны искать не столько "своего Ньютона или Дарвина", сколько своего Галилея или Пастера.

Как эта, так и предыдущая ссылка на аналогичность в методах социальных и естественных наук, наверное, вызовут столько же возражений, сколько термины "социальная

технология" и "социальная инженерия" (несмотря на важное уточнение "поэлементная"). Сразу скажу, что вполне понимаю, насколько важно бороться против догматического натурализма, или "сциентизма" (в терминологии профессора Хайека). Не понимаю, однако, почему не использовать этой аналогии в той мере, в какой она плодотворна, осознавая все связанные с нею злоупотребления. Кроме того, вряд ли есть более сильный аргумент против догматических натуралистов, чем тот, что методы, которые они подвергают нападкам, в сущности ничем не отличаются от методов естествознания.

Первое (*prima facie*) возражение против технологического подхода состоит в том, что "активистское" отношение к социальному строю (см. раздел 1) настраивает против невмешательства, или "пассивизма", — против той точки зрения, что неудовлетворенность социальными или экономическими условиями проистекает из непонимания того, как они действуют и по какой причине активное вмешательство только ухудшает положение дел.

Должен признаться, что я ничуть не симпатизирую "пассивизму" и считаю политику универсального невмешательства несостоятельной — в том числе по чисто логическим основаниям, поскольку в целях предотвращения вмешательства рекомендуется некое политическое вмешательство. Однако технологический подход как таковой в этом вопросе нейтрален и вполне совместим с невмешательством.

Более того, невмешательство связано именно с технологическим подходом. Ибо утверждать, что вмешательство служит ухудшению положения дел, — значит говорить, что какие-то политические действия не вызывают желаемых последствий; а в число наиболее характерных задач любой технологии входит указание на то, чего нельзя достигнуть.

На этом стоит остановиться более подробно. Как уже было показано, всякий природный закон можно выразить в утверждении, что такой-то и такой-то вещи случиться не может; например, с помощью предложения следующего типа: "Воду в решете не унесешь". Закон сохранения энергии можно выразить следующим образом: "Нельзя построить вечный двигатель", а закон энтропии — "Построить машину с КПД = 100 % невозможно". В формулировках природных законов их технологическая значимость становится очевидной, поэтому назовем их "технологической формой" природного закона.

Рассмотрим в этом свете невмешательство. Мы сразу увидим, что его можно выразить в предложениях следующего типа: "Вы не можете достигнуть таких-то и таких-то целей, не вызывая таких-то и таких-то последствий". Итак, невмешательство можно считать типично технологической концепцией.

Конечно, невмешательство — не единственная технологическая концепция в сфере социальных наук.

Значение нашего анализа в том, что он привлекает внимание к фундаментальному подобию, существующему между естественными и социальными науками.

Существуют социологические законы или гипотезы, аналогичные законам или гипотезам естествознания.

Часто ставится под сомнение, а существуют ли такие социологические законы или гипотезы (отличающиеся от так называемых "исторических законов"). Поэтому приведу несколько примеров. "Нельзя вводить тарифы на сельскохозяйственную продукцию и одновременно снижать уровень жизни". — "В индустриальном обществе группы давления, действующие в интересах потребителей, менее эффективны, чем группы давления, действующие в интересах производителей". — "В обществе с централизованным планированием система конкурентных цен невозможна". — "Полная занятость без инфляции невозможна". Можно привести примеры из сферы политики: "Политическая реформа невозможна без последствий, нежелательных с точки зрения поставленных реформаторами целей" (поэтому будьте начеку). — "Невозможно проводить политическую реформу, не укрепляя тем самым оппозиционные силы, которые растут пропорционально масштабу самой реформы". (Это — технологический вывод из того, что всегда есть интересы, связанные со "status quo".) "Невозможно совершить революции, не вызвав реакции".

К этим примерам можно добавить еще два, "платоновский "закон революции "" (из восьмой книги "Государства") и "закон коррупции лорда Эктона": "Революция не будет успешной, если правящий класс не ослаблен внутренними разногласиями или поражением в войне". — "Нельзя дать человеку власть над другими людьми, не искушая его злоупотребить этой властью.

Искушение тем сильнее, чем больше у него власти, и мало кто способен устоять". Конечно, формулировки этих гипотез оставляют желать лучшем. Это просто примеры утверждений, обсуждаемых и обосновываемых "поэлементной" технологией.

21. Инженерия "поэлементная" versus инженерия утопическая

Несмотря на неприятные ассоциации, связанные с термином "инженерия", я буду использовать его для описания практического применения результатов поэлементной технологии. Термин "поэлементная инженерия" полезен, ибо существует потребность в термине, который бы обозначал социальные деятельности — как частного, так и общественного характера, — использующие для достижения той или иной цели все доступное технологическое знание. Поэлементная социальная инженерия похожа на физическую инженерию, полагая, что вопрос о целях выходит за сферу компетенции технологии. (Технология способна сказать только, совместимы ли данные цели друг с другом и можно ли их достичь.) Этим она отличается от историцизма, для которого цели человеческой деятельности обусловлены историческими силами, и, таким образом, они входят в сферу компетенции самого историцизма.

Подобно тому, как основной задачей инженера-физика является проектирование, усовершенствование и эксплуатация машин, задача социального инженера состоит в проектировании и реконструкции социальных институтов, а также в управлении ими. Термин "социальный институт" употребляется здесь в очень широком смысле, он включает организации (bodies) как частного, так и публичного характера. Его можно использовать для описания сферы предпринимательства, от небольшого магазина до страховой компании, а также для описания школы, или "системы образования", полиции, церкви или суда. "Поэлементный" технолог или инженер знает, что спроектированным является лишь незначительное меньшинство социальных институтов, все остальные просто ""выросли", это непреднамеренные результаты человеческих действий. Но сколь бы сильное впечатление они на него ни произвели, технолог, или инженер, будет смотреть на эти социальные институты с "функциональной" или "инструментальной" точки зрения. Он будет видеть в них средства для достижения определенных целей или считать, что их можно обратить на службу таким целям; для нем это машины, а не организмы. Разумеется, он видит фундаментальные различия между институтами и физическими инструментами. Технолог изучает различия точно так же, как подобию, выражая полученные результаты в форме гипотез. В самом деле, сформулировать гипотезы об институтах в технологической форме нетрудно, что видно из следующем примере: "Вы не можете сконструировать надежных институтов, т. е. институтов, функционирование которых в малой степени зависит от личностей; в лучшем случае институты уменьшают ненадежность личностном фактора, оказывая помощь тем, кто работает на цели, ради которых спроектированы эти институты. От личной инициативы и знаний во многом зависит успех дела. (Институты — как крепости. Они должны быть хорошо спроектированы и укомплектованы надежным персоналом.)".

Подход "поэлементном" инженера состоит в следующем. Даже если он и лелеет некоторые идеалы, касающиеся общества как целого — например, его благосостояния, — он не верит в перестройку общества как целого. Какие бы цели он ни ставил, достигнуть их он надеется с помощью мелких исправлений и переделок, постоянно внося какие-то улучшения. Его цели могут быть самыми разными, например, это может быть аккумуляция богатства или власти индивидами или группами; или распределение богатства и власти; или — защита

"прав" индивидов или групп и т. д. Таким образом, наклонности социальной инженерии могут быть весьма разнообразными — и тоталитарными, и либеральными (Примеры далеко идущих либеральных программ "поэлементной" реформы даются У. Липпманном под заголовком "Повестка дня либерализма".) "Поэлементный" инженер, подобно Сократу, знает, как мало он знает. Он знает, что мы учимся только на своих собственных ошибках. Соответственно этому, он будет прокладывать путь, делая один шаг за другим и беря на заметку последствия проводимой реформы; он будет избегать сложных и масштабных реформ, уже невозможно бывает разобраться, где причина, а где следствия, и понять, что же, собственно, он делает.

"Постепенное налаживание" невозможно примирить с политическим темпераментом "активистов", программу которых также можно назвать "холической" или "утопической" инженерией (ее называли также "социальной инженерией").

Холическая или утопическая социальная инженерия, в отличие от "поэлементной" социальной инженерии, никогда не бывает "приватной", она всегда "публична" Она нацелена на "захват ключевых позиций" и укрепление "власти государства... пока государство не сольется с обществом"; кроме того, ее целью является контроль с этих "ключевых позиций" тех исторических сил, которые определяют будущее развивающегося общества либо задерживая его развитие, либо предвидя его ход и приноравливаясь к нему.

Наверное, уместно будет спросить, насколько фундаментальным является различие описанных здесь "поэлементном" и холического подходов, ведь никаких пределов действию "поэлементного" подхода здесь не поставлено. В рамки "поэлементного" подхода укладывается и конституционная реформа; не исключена возможность, что ряд "поэлементных" реформ будет вдохновляться одной общей тенденцией, например, — тенденцией к уравниванию доходов. Тем самым "поэлементные" методы поведут к изменениям, что обычно называют классовой структурой общества. В чем же тогда различие между амбициозными видами "поэлементной" инженерии и холическим или утопическим подходом? Этот вопрос еще более уместен, если мы учтем, что, пытаясь взвесить возможные последствия той или иной реформы, "поэлементный" технолог должен как можно более точно оценить воздействие любой меры на общественное "целое".

Отвечая на этот вопрос, я не буду проводить точной демаркации двух методов, а попытаюсь прояснить точки зрения, с которых холический и "поэлементный" технологи смотрят на задачу реформы общества. Холисты отвергают "поэлементный" подход, считая его слишком умеренным; однако это не совсем согласуется с их практикой, ибо на практике они всегда возвращаются к несистематическому и грубому, но зато амбициозному и решительному применению по сути своей "поэлементного" метода, хотя и лишенном осторожности и самокритичности.

Причина в том, что на практике холический метод невозможен; чем обширнее осуществляемые холические изменения, тем значительнее их непреднамеренные и во многом неожиданные последствия, вынуждающие холического инженера обращаться к приемам "поэлементной" импровизации. Вообще говоря, эти приемы характерны именно для централизованного или коллективистского планирования, а не для более умеренного и осторожного "поэлементного" вмешательства; утопический инженер постоянно делает вещи, которых он делать не собирался; иначе говоря, мы сталкиваемся здесь со знаменитым феноменом незапланированного планирования. Таким образом, на практике различия между утопической и "поэлементной" инженерией оказываются различиями не столько в масштабе и сфере охвата, сколько в осторожности и готовности к сюрпризам. Можно было бы также сказать, что на практике два метода различаются не по масштабу и области действия, — речь в данном случае идет о концепциях надлежащих методов рациональной социальной реформы. Одну из этих концепций я считаю истинной, а другую ложной и приводящей к серьезным ошибкам. Что касается методов, то один из них возможен, а другого просто не

существует он невозможен.

Поэтому одно из различий между утопическим, или холическим, и "поэлементным" подходами состоит в следующем: в то время как "поэлементный" инженер не заботится о масштабах реформы, холист заранее знает и заранее решил, что возможна и необходима полная перестройка общества. Этот факт имеет далеко идущие последствия. Утопист настроен против тех социологических гипотез, которые устанавливают пределы институциональному контролю; например, против гипотезы о неопределенности, порождаемой личностным элементом, "человеческим фактором". Отвергая а priori такие гипотезы, утопический подход вступает в противоречие с принципами научного метода. С другой стороны, проблемы, связанные с неопределенностью человеческого фактора, должны заставить утописта, нравится ему это или нет, контролировать человеческий фактор институциональными средствами и расширить свою программу так, чтобы она включала не только преобразование общества, но и преобразование человека. "Политическая проблема состоит поэтому в том, чтобы организовать человеческие импульсы, они устремят энергию на правильные стратегические пункты и направят процесс развития в желательном направлении". По-видимому, от действующего из лучших побуждений утописта ускользает, что эта программа обречена на неудачу.

Ибо требование построения нового общества, пригодного для того, чтобы в нем жили мужчины и женщины, подменяется требованием "формирования" этих мужчин и женщин с тем, чтобы они "подходили" этому новому обществу. Разумеется, нет никакой возможности проверить, добилось ли новое общество успеха или потерпело неудачу, ибо те, кому не нравится в нем жить, должны будут признать, что еще не созрели, что их "человеческие импульсы" нуждаются в дальнейшей "организации".

Но без возможности проверки испаряются всякие притязания этого метода на научность. Холический подход несовместим с наукой.

Хотя в задачи этой работы и не входит анализ утопической инженерии, имеются причины, по которым она будет рассматриваться в последующих трех разделах. Во-первых, это — очень модная концепция (иначе называемая "коллективистским" или "централизованным" планированием), и ее необходимо отличить от "поэлементной" технологии и "поэлементной" инженерии. Во-вторых, утопизм не просто похож на историцизм в своем враждебном отношении к "поэлементному" подходу, но зачастую выступает прямым союзником историцистской идеологии.

22. Несвятой союз с утопизмом

О противоположности двух методологических подходов, которые я назвал "поэлементной" технологией и историцизмом, писал еще Милль. "Есть два вида социологического исследования. Первый предлагает вопрос... что будет, например, если... ввести всеобщее избирательное право при теперешнем состоянии общества?... Для второго рода социологических исследований проблема... не в том, какое следствие вызовет некоторая данная причина при данном состоянии общества, но в том, каковы причины, производящие... какие бы то ни было Состояния Общества?" Поскольку Миллевы "Состояния Общества" в точности соответствуют тому, что мы называем историческими периодами, различие им "двух видов социологического исследования" соответствует также нашему различению двух подходов — "поэлементной" технологии и историцизма. И это будет еще более очевидно, если мы присмотримся ко "второму виду социологических исследований", который, по Миллю (испытавшему влияние Конта), превосходит первый вид и который, как он считает, использует "исторический метод".

Как было показано выше (в разделах 1, 17 и 18), историцизм не противоречит "активизму". Историцистскую социологию можно даже интерпретировать как своего рода технологию, желающую (как выражался Маркс) "сократить и облегчить родовые схватки" нового исторического периода. И действительно, в описании Миллем историческом метода

эта идея содержится, причем сформулирована она в манере, поразительно сходной с Марксовой: "Это метод, с помощью которого обнаруживаются... законы социальном прогресса. Посредством нем мы не только заглянем в далекое будущее человечества, но и наметим средства искусственного... ускорения естественном прогресса, в том случае если он благотворен...".

Практические инструкции, обосновываемые в высшем разделе спекулятивной социологии, образуют наиболее благороднейшую и наиболее благотворнейшую часть Политического Искусства".

Итак, различие моего подхода и подхода историциста не в том, что я настаиваю на технологии, а в том, что для меня важна "поэлементная" технология. В той мере, в какой историцизм технологичен, его подход является не "поэлементным", а "холическим".

Холизм миллевского подхода ясно обнаруживается, когда он объясняет, что такое "Состояние Общества" (или исторический период). "Состояние Общества есть состояние на данный момент времени всех наиболее значительных социальных фактов или феноменов". Примерами таких фактов, среди прочего, могут служить "состояние промышленности, состояние богатства и его распределение", разделение общества на "классы и отношения этих классов друг к другу; общие верования... форма правления и важнейшие законы и обычаи". Суммируя, Милль характеризует Состояния Общества следующим образом: "Состояния Общества подобны... возрастам организма; это состояния не одного или нескольких органов или функций, но всего организма".

Именно холизм радикально отличает историцизм от любой "поэлементной" технологии и делает возможным его союз с определенными видами холической или утопической социальной инженерии.

Конечно, это странный союз; ибо, как мы видели (в разделе 15), имеется явное расхождение между подходом историциста и подходом социального инженера или технолога (при том, что под социальной инженерией понимается построение социальных институтов согласно плану). С точки зрения историцизма, историцистский подход противоположен любому виду социальной инженерии настолько радикально, насколько подход метеоролога противоположен подходу колдуна, насылающему дождь; соответственно, социальная инженерия (даже "поэлементный" подход) подвергалась нападкам историцистов как утопическая. Несмотря на это, историцизм часто вступает в союз с идеями, типичными для холической или утопической социальной инженерии, такими, как "Новый Порядок" или "централизованное планирование".

Характерные представители этого союза — Платон и Маркс. Платон был пессимистом и полагал, что всякое или почти всякое изменение приводит к упадку. В этом и состоял его закон исторического развития. Соответственно, его утопия нацелена на то, чтобы пресечь всякое изменение; в наши дни этот проект назвали бы "статическим". Маркс же был оптимистом и, вероятно (как Спенсер), — приверженцем историцистской моральной теории. Соответственно, его утопия была проектом развивающегося или динамического", а не застывшем в своем развитии общества. Маркс предсказывал наступление Идеальной Утопии и предпринимал усилия к ее достижению, — Утопии, не знающей политического или экономического насилия: государство исчезает, каждый человек свободно кооперируется с другими людьми в соответствии со своими способностями, и все его потребности удовлетворяются.

Важнейшим звеном, скрепляющим союз историцизма и утопизма, является холический подход. Для историцизма важно развитие, и развитие не отдельных аспектов социальной жизни, но "общества как целого", подобно этому, холическая и утопическая инженерия. Оба они упускают важный факт, который будет предметом анализа в следующем разделе, — тот факт, что "целостности" в этом смысле слова не могут быть объектом научном исследования. Ни тех, ни других "поэлементное налаживание" и "вечная возня" не удовлетворяют, они

предпочитают более радикальные методы. И историста и утописта задевает, а порой глубоко тревожит изменение социальной среды (пугающий опыт, иногда называемый "социальным распадом"). Соответственно, оба они пытаются понять суть этого изменения: один начинает предсказывать ход социального развития, а другой — настаивать на том, чтобы изменение происходило под строгим и полным контролем или даже чтобы оно было полностью остановлено. При этом контроль должен быть полным, поскольку там, где его нет, могут таиться силы, способные вызвать непредвиденные изменения.

Еще одним общим звеном, соединяющим историзм и утопизм, является вера в то, что поставленные цели не являются результатом выбора или морального решения, но могут быть открыты наукой в соответствующих областях исследования. (В этом их отличие от "поэлементного" технолога и инженера, так же как и от инженера-физика.) И историст и утопист верят в свою способность определить истинные цели "общества", например, с помощью исторических тенденций или ставя диагноз в отношении "потребностей времени". Таким образом, они готовы принять своего рода истористскую моральную теорию (см. раздел 18). Неслучайно большинство авторов, защищающих утопическое "планирование", говорят, что планирование просто неизбежно, что таково направление истории, и что желаем мы того или нет, но мы должны планировать.

В том же духе эти авторы выговаривают своим оппонентам за умственную отсталость и видят главную задачу в том, чтобы "сломать старые привычки мышления и подобрать ключи к пониманию изменяющегося мира". Они утверждают, что на тенденции социального изменения "нельзя успешно влиять", пока мы не откажемся от "поэлементного подхода, "духа вечной возни". Сомнительно, правда, насколько новым является мышление "на уровне планирования", ведь холизм встречался уже у древних, его разделяют Платон и более древние мыслители. Лично мне более правдоподобным кажется взгляд, согласно которому холизм (в отношении "общества" или "природы") вовсе не высшая и не последняя ступень развития мышления, а характеризует скорее его донаучный уровень.

23. Критика холизма

Рассказав в своих пристрастиях и о позиции, лежавшей в основе моей критики, а также о противоположности "поэлементного" подхода, с одной стороны, и историзма и утопизма — с другой, перейду теперь к главной задаче — критическому анализу истористских концепций. Начну с одной из важнейших — с холизма.

Из современной холической литературы остается неясным, в каком смысле употребляется слово "целостность". Оно обозначает: (а) совокупность всех свойств или аспектов вещи и особенно всех отношений между составляющими ее частями; и (б) некоторые особые свойства или аспекты рассматриваемой вещи, а именно те, благодаря которым она выступает как организованная структура, а не как "простое множество". Целостности в смысле (б) являются объектами научного изучения, особенно в школе так называемой гештальтпсихологии и нет оснований, по которым нам не следовало бы изучать такие аспекты, как регулярности структуры (скажем, симметрию), обнаруживающиеся в некоторых вещах, например — в организмах, электрических полях или машинах.

Согласно гештальтпсихологии, о вещах, имеющих такую структуру, можно сказать, что они суть нечто большее, чем агрегаты, — "большее, чем просто сумма частей".

Любой пример из гештальт-теории покажет, что целостности в смысле (б) весьма отличаются от целостностей в смысле (а).

Если вместе с гештальт-теоретиками мы считаем, что мелодия есть нечто большее, чем

простая совокупность или последовательность музыкальных звуков, то выбираем для рассмотрения один из аспектов этой последовательности. Этот аспект отличается от других аспектов, таких, как абсолютная высота звука или его средняя абсолютная сила. Есть и другие гештальт-аспекты, еще более абстрактные, чем мелодия, например ритм; рассматривая ритм, мы пренебрегаем даже относительной высотой звука, важной для мелодии. Будучи результатом выбора, изучение Gestalt'a и с ним любой целостности в смысле (б) очень отличается от изучения тотальности, т. е. целостности в смысле (а).

Однако к тому факту, что целостности в смысле (б) можно изучать научно, нельзя апеллировать для обоснования том, что изучать научно можно и целостности в смысле (а). Это последнее притязание несостоятельно. Изучая какую-то вещь, мы неизбежно берем отдельные ее аспекты. У нас нет возможности наблюдать или описывать целую часть мира или целую часть природы; по сути дела, даже мельчайшая, но "целая" часть не может быть так описана, поскольку всякое описание с необходимостью избирательно. Можно даже сказать, что целостности в смысле (а) никогда не бывают объектом научной или какой-то иной деятельности.

Если мы берем организм и переносим его в другое место, то обращаемся с ним как с физическим телом и не затрагиваем многих других его аспектов. Если мы убиваем его, то разрушаем некоторые, но уж никак не все его свойства. По сути дела, даже если мы раздавим или сожжем этот организм, разрушить тотальность свойств и взаимосвязей частей мы все равно не сможем.

По-видимому, холисты (даже те из них, кто признает, что наука, как правило, селективна) не понимают, что целостности в смысле тотальностей не могут быть объектами научного изучения или любой другой деятельности, такой, как контроль или реконструкция. Они не сомневаются в возможности научного познания социальных целостностей (в смысле тотальностей), полагаясь на прецедент гештальтпсихологии. По их убеждению, различие между гештальт-подходом и способом изучения социальных целостностей в смысле (а), охватывающим «структуру всех социальных и исторических событий эпохи», состоит в том, что, в то время как Gestalt постижим с помощью прямого интуитивного восприятия, социальные целостности, «слишком сложные для понимания с первого взгляда», постижимы «лишь постепенно, после долгих размышлений, когда все элементы обозначены, упорядочены и поставлены во взаимную связь». Короче говоря, холисты не видят, что гештальт-восприятие не имеет ничего общего с целостностями в смысле (а), а знание, интуитивное или дискурсивное, должно быть знанием об абстрактных аспектах, так что мы никогда не постигнем «конкретной структуры самой социальной реальности». Не замечая этого, они настаивают, что изучение специалистом «мелких деталей» должно быть дополнено «интегрирующим» или «синтетическим» методом, нацеленным на реконструкцию «целостного процесса»; и что «социология не будет замечать сути дела до тех пор, пока специалисты не увидят свои проблемы в рамках целого». Однако холистический метод остается просто программой. Так и не дано ни одного примера научного описания целостной конкретной социальной ситуации. Да это и невозможно, поскольку в каждом таком случае нетрудно указать на аспекты, которые были упущены, — аспекты, которые могут оказаться существенно важными в каком-то ином контексте.

Холисты планируют не только изучать общество с помощью невозможного метода, в их планы также входит контроль и перестройка общества «как целого». Они предрекают, что «роль государства возрастает», пока государство не становится тождественным всему обществу. Интуиция, выраженная в этой фразе, достаточно ясна. Это тоталитарная интуиция" Но что еще, помимо интуиции, содержит данное пророчество? Термин «общество» охватывает, конечно, все социальные отношения, включая отношения личного характера; он включает себя отношения матери к ребенку в той же мере, что и отношения чиновника, занимающегося охраной детства, к ним обоим. По многим причинам

контролировать все или «почти все» эти отношения невозможно; это невозможно хотя бы потому, что с каждой новой контрольной инстанцией мы создаем тьму новых социальных отношений, в свою очередь требующих над собой контроля. Короче говоря, эта невозможность есть логическая невозможность. (Речь идет о бесконечном регрессе; нечто подобное происходит и в том случае, когда пробуют изучать общественное целое, что должно было бы включать само это изучение и т. д.) Однако нет никакого сомнения, что утописты планируют именно невозможное; они даже говорят, что среди всего прочего возможно будет «формировать подлинное общение». (Конечно, целостности в смысле (б) можно формировать, контролировать и даже создавать в отличие от целостностей в смысле (а), например, можно создать мелодию; но это не имеет ничего общего с утопическими мечтами о тотальном контроле.)

Но довольно об утопизме. Что касается историцизма, положение здесь столь же безнадежно. Историцистские холисты часто говорят о том, что исторический метод адекватен изучению целостностей в смысле тотальностей. Но это просто недоразумение. В этом утверждении соединяются правильная мысль, что история, в отличие от теоретических наук, интересуется конкретными индивидуальными событиями и индивидуальными личностями, а не абстрактными общими законами, и мысль ошибочная, состоящая в том, что «конкретные» индивидуальности, интересующие историю, — это «конкретные» целостности в смысле (а). Но одно не тождественно другому; история, как и любое другое исследование, может заниматься только специально выбранными аспектами интересующего ее объекта. Ошибочно полагать, что возможна история в холическом смысле, история «Состояний Общества», представляющая «целостность социального организма» или «все социальные и исторические события эпохи». Эта идея исходит из интуитивного взгляда на историю человечества как на развивающийся широкий и всеохватывающий поток. Но такую историю просто невозможно написать. Всякая писаная история есть история какого-то узкого аспекта «тотального» развития; но она неполна в любом случае, даже если трактует об этом частном и неполном аспекте.

Соединение холических тенденций утопизма и историцизма можно увидеть в следующем характерном утверждении: «Нам никогда не приходилось создавать и направлять всю систему природы так, как мы вынуждены это делать сегодня с нашим обществом, и поэтому не было нужды проникать в историю и структуру индивидуальных миров природы. Человечество стремится... регулировать свою социальную жизнь в целом, хотя оно никогда не пыталось взяться за создание второй природы...». Итак, если мы желаем, как холисты, иметь дело «со всей системой природы», имеет смысл вооружиться историческим методом. Заметим, что естественные науки (такие, как геология), применяющие этот метод, все еще далеки от постижения «всей системы» своего предмета. Приведенное утверждение служит также иллюстрацией ошибочного взгляда, согласно которому можно «наладить», «направить», «отрегулировать» или даже «создать» целостности в смысле (а). То, что нам никогда не приходилось создавать и направлять всю систему природы, истинно просто потому, что мы не в состоянии создать и направлять даже какую-то одну часть физического мира в ее «полноте». Это невозможно. Это или утопические мечты, или недоразумение. И говорить нам, что сегодня мы вынуждены делать логически невозможное, а именно создавать всю систему общества, управлять ею и регулировать целостность социальной жизни, значит просто пытаться запугать нас «историческими силами» и «надвигающимся развитием» и представить дело так, что утопическое планирование неизбежно.

Между прочим, приведенная выше цитата интересна также и тем, что признает отсутствие какой-либо «физической» аналогии для холической инженерии или соответствующей ей «науки». Поэтому поиски аналогий между естественной и социальной науками, конечно, помогут прояснению этого вопроса.

Таков логический статус холизма, тот камень, на котором нас призывают воздвигнуть новый мир.

Можно добавить еще одно критическое замечание по поводу целостностей в смысле (б), наделенных мною статусом научных. Не беря обратно ни единого слова, скажу, что мы редко осознаем тривиальность и расплывчатость суждения о том, что целое больше суммы своих частей. Даже три яблока на тарелке — это нечто большее, чем «просто сумма», между ними существуют определенные отношения (то яблоко, что покрупнее, может лежать, а может и не лежать между двумя другими и т. п.), — отношения, которые не следуют из того факта, что на тарелке находятся три яблока, и вполне поддаются научному исследованию. Точно так же модное различие «атомистического» и гештальт-подходов является несостоятельным, во всяком случае в том, что касается ядерной физики: ибо ядерная физика не просто «суммирует» элементарные частицы, но изучает системы частиц с точки зрения целостностей в смысле (б).

Большинство гештальт-теоретиков утверждают, что имеются два вида вещей: «совокупности», в которых нет никакого порядка, и «целостности», в которых можно отыскать порядок, симметрию, регулярность, систему или структурный план. Тем самым фраза «Организмы — это целостности» сводится к тривиальности, а именно к тому, что мы можем увидеть в организме некий порядок. Помимо того, «совокупность», как правило, имеет свой гештальт-аспект, точно так же, как и часто приводимое в пример электрическое поле. (Возьмем, к примеру, регулярность, с которой внутри кучи камней нарастает давление.) Таким образом, различие это не только тривиально, но и весьма неотчетливо. И применимо оно не к разным родам вещей, но к разным аспектам вещей одного и того же рода.

24. Холическая теория социальных экспериментов

Особенно вредное воздействие холическое мышление оказывает на историцистскую теорию социальных экспериментов (см. раздел 2). «Поэлементный» технолог примет утверждение историцизма, что крупномасштабные или холические социальные эксперименты — если они вообще возможны — для целей науки оказываются непригодными, однако он никогда не согласится, что социальные эксперименты должны состоять в утопических попытках переделать все общество в целом.

Нашу критику мы начнем с обсуждения очевидного возражения, выдвигаемого против утопической программы, а именно — что не существует экспериментального знания, необходимого для такого рода предприятия. В основе проектов инженера-физика лежит экспериментальная технология; все принципы его деятельности проверены в экспериментах на практике. Холические проекты социального инженера не основаны на таком практическом опыте. Таким образом, аналогия, проводимая между физической инженерией и холической социальной инженерией, неправомерна; не зря холическое планирование называют «утопическим», у этих планов просто нет научной основы.

Перед лицом этой критики инженер-утопист, наверное, и согласится с необходимостью практического опыта и экспериментальной технологии. Но он скажет, что мы так ничего и не узнаем об этих проектах, если будем бояться проводить социальные эксперименты или (для него это почти одно и то же) с опаской относиться к холической инженерии. Мы должны начать, скажет он, используя любое имеющееся в нашем распоряжении знание, независимо от того, много его или мало. Если у нас имеется знание о самолетостроении, то мы располагаем им только потому, что какой-то пионер, у которого не было этого знания, рискнул сконструировать и испытать первый воздухоплавательный аппарат.

Утопист даже будет говорить, что холический метод есть не что иное, как экспериментальный метод в применении к обществу. Ибо вместе с историцистом он полагает, что результаты локальных (small-scale) экспериментов, таких, как введение социализма на одной отдельно взятой фабрике, в одной деревне или даже в каком-то одном районе, никак нельзя считать окончательными; такие изолированные «робинзоновские

эксперименты» не могут ничего сказать о современной социальной жизни в «Большом Обществе». Они даже заслуживают прозвища «утопических» — в том (марксистском) смысле, в каком в нем выражается пренебрежение к историческим тенденциям. (В данном случае не учитывается тенденция к усилению взаимозависимости в социальной жизни.)

Утопизм и историцизм — оба соглашаются с тем, что социальный эксперимент (если такая вещь существует) имеет ценность лишь в том случае, если он проводится в холических масштабах. Этот широко распространенный предрассудок основан на убеждении, что «запланированные эксперименты» в социальной сфере осуществляются редко, а для объяснения результатов «случайных экспериментов», проводившихся до сего времени в этой области, мы должны обратиться к истории.

Против этого взгляда у меня имеются два возражения: (а) он не учитывает поэлементных экспериментов, которые имеют фундаментальное значение для всего социального знания, не только научного, но и донаучного; (б) холические эксперименты вряд ли что-то прибавят к нашему экспериментальному знанию; их можно назвать «экспериментами» лишь в смысле действия, результат которого неясен, но не в смысле средства получения знания через сравнение полученных и ожидавшихся результатов.

Что касается (а), холический взгляд на социальные эксперименты оставляет без объяснения тот факт, что мы обладаем очень большим экспериментальным знанием о социальной жизни. Бизнесмены, организаторы, политики, генералы бывают опытными или же неопытными. Различаются они по своему социальному опыту; причем этот опыт получен не просто из наблюдения или последующего его осмысления, но в ходе достижения какой-то практической цели. Полученное таким способом знание обычно является донаучным и больше похоже на знание, полученное в результате случайного наблюдения, чем на знание, добытое с помощью тщательно обдуманых научных экспериментов; и тем не менее оно основано скорее на эксперименте, чем на простом наблюдении. Бакалейщик, открывающий новый магазин, тоже проводит социальный эксперимент; даже человек, встающий в очередь к театральным кассам, получает экспериментальное технологическое знание, благодаря которому в следующий раз он закажет билет заранее (что также будет социальным экспериментом). Не следует забывать, что только практические эксперименты научили покупателей и продавцов, что цены на рынке снижаются с ростом предложения и повышаются с ростом спроса.

Примеры поэлементных экспериментов чуть большего масштаба: монополист принимает решение изменить цену на свою продукцию; страховая компания, частная или государственная, вводит новый вид медицинского или профессионального страхования; предлагается новый торговый налог; вводится политика свертывания торгового оборота. Все эти эксперименты осуществляются с практической, а не с научной целью. Крупными фирмами проводились также эксперименты с целью пополнить знания о рынке, а не с целью немедленного увеличения прибыли. Ситуация очень напоминает ситуацию в физической инженерии и те донаучные методы, с помощью которых было получено технологическое знание в таких областях, как строительство кораблей или искусство мореплавания. И, видимо, ничто не мешает совершенствовать эти методы и в конце концов заменить их более научно ориентированной технологией, иначе говоря — более систематическим подходом, использующим не только эксперимент, но и критическое мышление.

Согласно этому поэлементному взгляду, четкого разделения донаучных и научных экспериментальных подходов не существует, хотя значение сознательного применения научных, так сказать, критических методов весьма велико. Оба подхода в основном используют метод проб и ошибок. Мы «пробуем», т. е. не просто регистрируем сделанное наблюдение, но активно решаем проблемы. И мы продвигаемся вперед, если и только если мы готовы учиться на ошибках, признавать их и критически использовать, а не превращать их в догму. Хотя этот анализ и может показаться тривиальным, он описывает, по-моему, метод всех эмпирических наук. Метод проб и ошибок приобретает все более научный характер по мере того, как растет наша готовность все более свободно и сознательно

совершать рискованные попытки и относиться к неизбежным ошибкам критически. Эта формула касается не только метода эксперимента, но и отношения между теорией и экспериментом. Все теории — это пробы, пробные гипотезы, выдвигаемые для того, чтобы проверить, работают они или нет; а всякое экспериментальное подтверждение есть просто результат проверок, стремящихся обнаружить, в чем наши теории ошибаются.

Для «поэлементного» технолога или инженера это означает, что применение научных методов в изучении общества и в политике предполагает критическую позицию и осознание необходимости не только проб, но и ошибок. Мы должны не просто ожидать появления ошибок, но и сознательно их искать. Все мы страдаем одним недостатком, нам хотелось бы всегда быть правыми. Эта слабость, по-видимому, особенно распространена среди профессиональных политиков и политиков-любителей. И единственный способ применить нечто похожее на научный метод в политике — это действовать исходя из допущения, что не существует ни одного политического шага, который был бы лишен недостатков и не имел нежелательных последствий. Искать и находить ошибки, анализировать их, учиться на ошибках — такова задача «научного» политика, как и политического исследователя. Великое искусство убеждать себя в собственной непогрешимости, не замечать своих ошибок, скрывать их или обвинять в них других людей должно быть заменено еще более великим искусством отвечать за совершенные ошибки, учиться на ошибках, чтобы не совершать их в будущем.

Обратимся теперь к пункту (б), к критике того взгляда, что учиться можно и на холических экспериментах или, точнее, на [социальных] мерах, близких к тому, о чем мечтают холисты (ибо холические эксперименты в радикальном смысле перестройки «целого общества» логически невозможны — см. предыдущий раздел). Главная наша мысль очень проста: отнестись критически к собственным ошибкам трудно, а в отношении действий, затрагивающих большое количество людей, это практически невозможно. Иначе говоря, учиться на очень серьезных ошибках — очень трудно.

Причины тому и моральные, и технические. Поскольку одновременно делается очень многое, невозможно сказать, что именно вызывает тот или иной результат; и если мы приписываем тот или иной результат какой-то вполне определенной мере, то делаем это исходя из уже имеющегося теоретического знания, а не основываясь на данном холическом эксперименте. Такой эксперимент не позволяет соотнести результаты и предпринятые меры; мы можем только приписать ему «весь результат в целом»; и что это означает — судить чрезвычайно трудно. Самые серьезные усилия обеспечить хорошо информированное, независимое и критическое описание этих результатов вряд ли принесут успех. Впрочем, сами шансы на то, что такие усилия будут предприняты, ничтожны; скорее всего, свободной дискуссии о холическом плане и его последствиях не потерпят. Ведь всякое крупномасштабное планирование — это предприятие, причиняющее значительные неудобства, мягко говоря, очень многим людям и в течение очень долгого времени. Соответственно, планом всегда будут недовольны и на него всегда будут жаловаться. Инженер-утопист не должен обращать внимание на эти жалобы; более того, его обязанностью является подавление неразумной критики. Однако наряду с неразумной он будет пресекать и разумную критику. И одно только то, что выражения неудовольствия будут пресекаться, сводит на нет весь энтузиазм по поводу происходящего. Таким образом, выяснить факты, т. е. воздействие плана на конкретного гражданина, будет сложно; а без фактов научная критика невозможна.

Еще труднее добиться сочетания холического планирования с научными методами. Плановик не замечает того факта, что в отличие от власти знание централизовать невозможно, оно распределено между людьми. И в то же время централизация его необходима, если, обладая централизованной властью, мы желаем распорядиться ею мудро. Этот факт имеет далеко идущие последствия. Не зная, что же содержится в сознании столь многих индивидов, холист будет упрощать проблему, стирая различия между индивидами: он попытается контролировать и стереотипизировать интересы и убеждения с помощью

образования и пропаганды. И эта попытка установить власть над умами, разрушить последнюю возможность узнать, что же люди действительно думают, очевидно, несовместима со свободным выражением мысли, особенно мысли критической. В конечном счете знание будет разрушено, а с усилением власти потери в знании будут увеличиваться. (Таким образом, политическая власть и социальное знание «дополнительны». Быть может, это единственный ясный пример трудноуловимого, но модного понятия дополнительности.)

О невозможности знания, пригодного для планирования, которое было бы «сосредоточено в одной голове», писал Хайек. См.: «Collectivist Economic Planning», p. 210. См. также примечание 1 на с. 75.

Один из важнейших моментов политической теории Спинозы — мысль о невозможности знать и контролировать мысли других людей. Тирания определяется им как попытка достигнуть невозможного и применить власть там, где она неприменима. Следует помнить, что Спиноза не был либералом в точном смысле слова; он не верил в институциональный контроль над властью, однако полагал, что государь вправе применять власть, не преступая какого-то предела. То, что Спиноза называет тиранией и объявляет противоречащим разуму, холисты наивно считают просто «научной» проблемой, «проблемой преобразования человека».

Все эти замечания касаются только проблемы научного метода. Неявно подразумевается то колоссальное допущение, что планирующий инженер-утопист благожелателен, ведь он наделен полномочиями по меньшей мере диктаторскими. Тоуней заключает исследование о Лютере и его времени словами: «Скептический в отношении единорогов и саламандр, век Макиавелли и Генриха VIII нашел пищу для легковерия в редкостном чудище — Богобоязненном Государе». Замените здесь слова «единорогов и саламандр» словами «Богобоязненного Государя»; замените личные имена другими, принадлежащими нашему времени, а слова «Богобоязненном Государе» замените на «Благожелательной Планирующей Власти», — и перед вами описание легковерия нашей эпохи. Мы не станем бросать ему вызов; можно заметить, впрочем, что при всей неограниченной и неизменной благожелательности планирующие власти никогда не смогут выяснить, согласуются результаты предпринимаемых ими мер с их благими намерениями или нет.

Не думаю, что такую же критику можно выдвинуть в отношении поэлементного метода. Этот метод применяется для выявления ближайшего социального зла и скорейшего его устранения, а не для поисков и приближения конечного блага (к чему склонны холисты). Систематическая борьба против неправды, против конкретных форм несправедливости и эксплуатации, против страдания, в котором нет никакой нужды, — вроде нищеты или безработицы, — весьма отличается от попыток осуществления какого-то далекого идеального проекта общества. Оценить успех или неудачу в этой борьбе легче, и этот метод не ведет к аккумуляции власти и подавлению критики. К тому же борьба против конкретной неправды и конкретной опасности найдет поддержку скорее, чем борьба за установление Утопии, какой бы идеальной она ни казалась тем, кто ее запланировал. Возможно, это прольет какой-то свет на то, что в демократических странах, борющихся против агрессии, могут быть поддержаны необходимые далеко идущие меры (даже если они принимают характер холического планирования), не связанные с подавлением публичной критики, в то время как в странах, готовящихся к агрессии или ведущих захватническую войну, публичная критика, как правило, подавляется, и у населения ищут поддержку, выдавая агрессию за оборону.

Вернемся теперь к утверждению утописта, что именно его метод является подлинным экспериментальным методом, примененным в сфере социологии. Полагаю, наша критика выявила несостоятельность такого притязания. Проиллюстрировать это можно и с помощью аналогии между физической и холической инженерией. Конечно, физические машины и даже целые машиностроительные заводы и т. д. можно создавать по плану, заранее вычерчивая их проекты. Однако возможно это только потому, что предварительно было

проделано множество небольших экспериментов. Всякая машина есть результат множества мелких усовершенствований. Любая модель «разрабатывается» с помощью метода проб и ошибок, опирается на бесчисленные мелкие улучшения. Точно так же планируется и завод. Холический план успешен только потому, что уже совершены всевозможные мелкие ошибки; в противном случае этот план наверняка привел бы к самым серьезным промахам.

Таким образом, аналогия, которую проводят между физической и социальной инженерией, при более внимательном рассмотрении оказывается направленной против холического и в пользу «поэлементного» подхода. Термин «социальная инженерия» был узурпирован утопистом без всякого на то права.

На этом я завершаю критику утопизма и перехожу к критике его союзника — историцизма. Полагаю, что историцистские взгляды, касающиеся социального эксперимента, получили должную оценку. Осталось дать ответ на аргумент, согласно которому социальные эксперименты бессмысленны, потому что их невозможно повторить — ведь условия их проведения не остаются неизменными. Рассмотрим этот аргумент.

25. Вариабельность экспериментальных условий

Историцист утверждает, что экспериментальный метод неприменим к социальным наукам потому, что в социальной области мы не можем точно воспроизвести условия эксперимента. Это подводит нас чуть ближе к сути историцистской позиции. Наверное, в ней заключена какая-то истина: например, различия между физическими и социологическими методами несомненно существуют. Однако, с другой стороны, историцистская точка зрения основывается на вопиющем непонимании экспериментальных методов физики.

Что это за методы? Каждому физику-экспериментатору известно, что очень разные вещи могут случаться в условиях, кажущихся очень сходными. Так, два провода на первый взгляд ничем друг от друга не отличаются, однако, если в каком-нибудь приборе заменить один провод на другой, разница может оказаться весьма существенной. При тщательном осмотре (например, с помощью микроскопа) обнаружится, что они не так уж похожи друг на друга, как это поначалу казалось. Но зачастую различия в условиях экспериментов, приводящих к разным результатам, заметить и в самом деле трудно. Может понадобиться длительное исследование — и экспериментальное, и теоретическое, — чтобы найти, какая степень подобия здесь необходима и какая достаточна. Возможно, такое исследование следует провести еще до воспроизведения условий эксперимента и даже до того, как мы разберемся, что в данном случае означают слова «сходные условия». И все же на практике метод эксперимента применяется постоянно.

Таким образом, вопрос о том, что называть сходными условиями, зависит от того, с каким экспериментом мы имеем дело, и ответить на него можно, только проводя сами эксперименты. Невозможно решить a priori в отношении любого наблюдаемого различия или подобия, даже если оно бьет в глаза, окажется оно полезным или нет при воспроизведении эксперимента. Так что пусть экспериментальный метод сам о себе позаботится. Точно такие же соображения можно привести в отношении много обсуждавшейся проблемы искусственной изоляции в эксперименте. Мы не можем обеспечить изоляцию от всех влияний; например, мы не знаем a priori, насколько значительно влияние, оказываемое расположением планет или Луны на физический эксперимент, и можно ли им пренебречь. Какого рода искусственная изоляция нужна и нужна ли она вообще — это мы можем узнать, только уже проводя эксперименты или из теорий, также подлежащих экспериментальной проверке.

В свете этих соображений теряет силу историцистский аргумент, согласно которому для социальных экспериментов фатальной оказывается вариабельность социальных условий и особенно изменений, происходящих вследствие исторического развития. Различия, столь занимающие историциста, — различия в условиях, которые превалируют в рамках разнообразных исторических периодов, не должны представлять никаких специфических для

социальной науки трудностей. Если бы мы вдруг перенеслись в другой исторический период, то, наверное, обнаружили бы, что многие наши социальные ожидания, основанные на результатах «поэлементных» экспериментов, не оправдались. Другими словами, эксперименты могут приводить и к непредвиденным результатам. Но именно эксперименты позволяют обнаружить изменение в социальных условиях; из экспериментов мы узнаем, что определенные социальные условия меняются в зависимости от того или иного исторического периода; именно благодаря экспериментам физики знают, что температура кипящей воды изменяется в зависимости от географического положения¹. Иначе говоря, концепция, согласно которой исторические периоды существенным образом отличаются друг от друга, вовсе не отрицая возможности экспериментов, утверждает, что если бы мы перенеслись в другой период, то наши поэлементные эксперименты могли бы быть продолжены, однако их результаты оказались бы неожиданными или вызвали бы у нас разочарование. Если мы что-то и знаем о ментальности в разные исторические периоды, то только благодаря мысленным экспериментам, которые мы проводим в нашем воображении. Трудности в интерпретации тех или иных источников, с которыми имеют дело историки, или неправильная интерпретация исторических свидетельств — единственное наше основание для суждения об историческом изменении, о котором толкует историк; и это не что иное, как расхождение между ожидаемым и действительным результатом наших мысленных экспериментов. Именно эти неожиданности и разочарования побуждают нас, через пробы и ошибки, совершенствовать нашу способность интерпретировать иные социальные условия. В случае исторической интерпретации результат получают с помощью мысленного эксперимента, антропологи же достигают его в практической полевой работе. Исследователи, которым удалось согласовать свои ожидания с условиями не менее удаленными, чем условия каменного века, обязаны достигнутым успехом поэлементным экспериментам.

Некоторые историки сомневаются в том, что это возможно, и даже защищают свои концепции о бесполезности социальных экспериментов, используя аргумент, согласно которому огромное большинство социальных экспериментов, перенесенных в отдаленное будущее, принесли бы нам только разочарование. Они утверждают, что мы не смогли бы приспособить наши мыслительные привычки, особенно навыки анализа социальных событий, к новым и неожиданным условиям. Такие опасения кажутся мне проявлением историцистской истерии, одержимости на почве социального изменения; но, признаюсь, трудно было бы рассеять эти страхи, исходя из априорных оснований. В конце концов, люди приспособляются к новой среде по-разному, и нет оснований ожидать от историка (придерживающегося пораженческих взглядов), что он будет способен адаптировать свое сознание к тем изменениям, которые происходят в социальной среде. Все будет зависеть также и от того, какой будет эта новая среда. Не исключено, что социального исследователя съедят, прежде чем он методом проб и ошибок сумеет приспособиться к привычкам каннибалов; нельзя исключить и возможность того, что в «плановом» обществе его исследования закончатся в концлагере. Однако аналогичные замечания справедливы также и в отношении физики. Многие места во Вселенной не оставляют физику никаких шансов на выживание или адаптацию с помощью метода проб и ошибок.

Итак, нет, видимо, никаких оснований для историцистского убеждения в том, что варибельность исторических условий делает экспериментальный метод неприменимым к проблемам общества, или для утверждения, что с этой точки зрения изучение общества существенно отличается от изучения природы. Другое дело, что на практике социальному исследователю часто очень трудно выбрать требуемые экспериментальные условия или изменить их по своему желанию. Физик находится в лучшем положении, хотя и он иногда сталкивается с подобными трудностями. Так, возможности проведения экспериментов в различных гравитационных полях или в условиях предельных температур весьма ограничены. Мы не должны, тем не менее, забывать, что многое из того, что сегодня доступно, совсем недавно казалось нереальным, и не из-за физических, а из-за социальных

трудностей, т. е. потому, что мы не готовы были пойти на риск и вложить в исследование необходимые средства. И все же, в отличие от физических исследований, многие из которых проводятся сегодня в самых благоприятных экспериментальных условиях, состояние социальных исследований нельзя назвать блестящим. Многие эксперименты надолго останутся мечтами, несмотря на то, что они вовсе не являются «утопическими». На практике социальному исследователю остается только опираться на мысленные эксперименты и на анализ политических действий, хотя и то и другое с научной точки зрения оставляет желать много лучшего.

26. Ограничены ли обобщения рамками исторических периодов?

Тот факт, что проблема социальных экспериментов была рассмотрена нами прежде сколько-нибудь подробного обсуждения социологических законов, из теорий, гипотез или «обобщений», вовсе не означает что наблюдения и эксперименты предшествуют им логически. Напротив, именно теории предшествуют наблюдениям и экспериментам, и последние значимы лишь в связи с теоретическими проблемами. К тому же, чтобы наблюдение или эксперимент помогли нам тем или иным путем найти ответ, должен быть сформулирован сам вопрос. Другими словами, в терминах метода проб и ошибок, проба должна предшествовать ошибке; и как мы видели (в разделе 24), теория или гипотеза, которая всегда носит предварительный характер, есть не что иное, как часть пробы, а наблюдение и эксперимент помогают в своего рода «прополке» теорий, показывая, в чем они ошибаются. Поэтому я не верю в концепцию «метода обобщения», согласно которой наука начинает с наблюдений, из которых далее посредством процесса обобщения или индукции выводятся теории. Функция наблюдения и эксперимента скромнее — с их помощью мы проверяем теории, устраняя те, которые не выдерживают проверок; этот процесс «прополки» не только сдерживает, но и стимулирует теоретическую спекуляцию, направляя ее к новым ошибкам, которые, в свою очередь, опровергаются новыми наблюдениями и экспериментами.

В этом разделе критике будет подвергнуто историцистское утверждение (см. раздел 1) о том, что в социальных науках истинность обобщений, или по крайней мере наиболее важных из них, — ограничена конкретным историческим периодом, в котором делались соответствующие наблюдения. Я не буду обсуждать вопрос, насколько оправдан сам «метод обобщения», — с моей точки зрения, он несостоятелен; думаю, что историцистскую позицию можно опровергнуть и не доказывая ложности этого метода. К его обсуждению и к обсуждению отношения теории и эксперимента мы вернемся в разделе 28.

Начну с того, что большинство людей, живущих в определенный исторический период, склонны к ошибочному мнению, будто наблюдаемые ими регулярности являются универсальными законами социальной жизни и справедливы во всех типах общества. И действительно, только попав в чужую страну, мы замечаем, что наши привычки в отношении пищи, наши ритуалы приветствия и т. д. вовсе не столь общеприняты, как мы ранее полагали. Следовательно — и многие другие наши обобщения, сознаем мы это или нет, носят такой же характер, хотя и остаются неоспоренными, потому что совершить путешествие в другой исторический период мы не в состоянии. (Этот вывод был сделан, например, Гесиодом.) Другими словами, существует множество регулярностей, характерных только для нашего исторического периода; но мы склонны не замечать этого. Так что, к своему сожалению (особенно в периоды, когда происходит резкое социальное изменение), мы узнаем, что опирались на законы, которые утратили свою истинность.

Если бы речь шла только об этом, мы могли бы обвинить историциста в тривиальности, не больше того. Но он утверждает нечто большее. Он настаивает, что, в отличие от естествознания, в социальных науках мы никогда не уверены в универсальности открываемого закона; неизвестно, всегда ли он был истинным (ибо наши сведения могут оказаться недостаточными) и всегда ли он будет истинным.

Отвергая такие притязания, я не считаю эту ситуацию специфичной для социальных наук, не думаю также, что она порождает какие-то особые трудности. Напротив, очевидно, что изменение в физической среде может дать нам опыт, аналогичный тому, что переживается при изменении в нашем социальном или историческом мире. Какая регулярность более очевидна и общеизвестна, чем смена дня и ночи? Однако за полярным кругом она не выполняется. Думаю, что такая неувязка столь же поразительна, как те, что происходят в социальной сфере. Возьмем еще один пример. Наверное, историческая или социальная среда на Крите в 1900 году и три тысячи лет тому назад отличаются друг от друга не в меньшей степени, чем географическая или физическая среда на Крите и в Гренландии. И внезапное, неподготовленное перемещение из одной физической среды в другую вызвало бы роковые последствия скорее, чем изменения подобного рода, но произошедшие в социальной среде.

По-моему, историцист переоценивает значение различий между историческими периодами и недооценивает научную изобретательность. Обнаруженные Кеплером законы истинны, конечно, только для планетных систем, но их истинность не ограничивается Солнечной системой, в которой Кеплер жил и которую наблюдал. Ньютону не было нужды удаляться в ту часть Вселенной, где он мог бы наблюдать движущиеся тела, свободные от влияния гравитационных и других сил, чтобы оценить значимость закона инерции. С другой стороны, несмотря на то, что ни одно тело в Солнечной системе не движется согласно этому закону, он остается для нее значимым. Подобно этому, наверное, нет оснований полагать, что мы не способны построить социологические теории, которые были бы значимы для всех социальных периодов. Существование различий между этими периодами не означает, что таких законов нет, подобно тому как различия между Гренландией и Критом не доказывают отсутствия физических законов, общих для них обоих. Напротив, различия эти, по крайней мере в некоторых случаях, носят сравнительно поверхностный характер (различия в обычаях, приветствиях, ритуалах т. п.); примерно так же дело обстоит и с регулярностями, характерными для определенного исторического периода или определенного общества (некоторые социологи называют их *principia media*)¹.

В ответ на это историцист скажет, что различия в социальной среде более фундаментальны, чем различия в физической среде; изменяется общество, изменяется и человек; а это означает изменение во всех социальных регулярностях, поскольку они зависят от природы человека, этого атома общества. На мой взгляд, с изменением среды изменяются и физические атомы (например, под влиянием электромагнитных полей и т. п.), и не вопреки законам физики, но в соответствии с этими законами. Кроме того, изменения человеческой природы — вещь сомнительная, и оценить их очень трудно.

Перейдем теперь к обсуждению историцистского взгляда, согласно которому в социальных науках мы не можем быть уверены в истинности универсальных законов, простирающихся за пределы тех периодов, в рамках которых мы наблюдали их действие. Однако это справедливо и в отношении естественных наук. Мы никогда не можем быть совершенно уверены в том, являются наши законы универсально истинными или же они действуют только в какой-то определенный период (например, в период расширения Вселенной), или — только в определенном регионе (возможно, в зоне действия слабых гравитационных полей). Несмотря на то, что удостовериться в их универсальной истинности невозможно, в формулировке естественных законов мы не оговариваем специально, что утверждение верно в рамках того периода, когда мы наблюдали его действие, или — в «нынешний космологический период». Такая оговорка свидетельствовала бы не о похвальной научной добросовестности, но о непонимании характера научной процедуры. Один из важнейших постулатов научного метода состоит в том, что сфера истинности наших законов должна быть неограниченной. Если бы наши законы сами были подвержены изменению, то изменение никогда нельзя было бы объяснить с помощью законов. Следовало бы допустить, что изменение является чудом. И тогда научному прогрессу наступил бы конец, ибо новые и неожиданные наблюдения не ставили бы нас перед необходимостью

пересматривать наши теории: *ad hoc* — гипотеза, что законы изменились, заранее «объясняла» бы все что угодно.

Для социальных наук эти аргументы справедливы не в меньшей степени, чем для естествознания.

На этом мы завершаем критику наиболее фундаментальных историко-географических концепций историцизма. Разберем теперь одну из историко-географических концепций, суть которой состоит в том, что следует заниматься поиском законов исторического развития.

В физике этот постулат приводит к требованию объяснить красное смещение, наблюдаемое в спектре излучения отдаленной туманности. Без него достаточно было бы признать, что законы атомных частот изменяются в различных частях Вселенной или в зависимости от времени. Тот же постулат требует от теории относительности выразить законы движения, такие, как закон сложения скоростей и т. д., единообразно для больших и малых скоростей (или для сильных и слабых гравитационных полей) и не довольствоваться *ad hoc* — допущениями для различных величин скорости (или гравитации).

Критика историко-географических концепций

27. Существует ли закон эволюции? Законы и тенденции

У концепций, которые я назвал историко-географическими, много общего с историко-географическими концепциями. Например, на них влияет холистическое мышление, и возникают они из ложного понимания методов естественных наук. Поскольку это попытка плохой имитации методов естествознания, их можно назвать псевдонаучными теориями (в смысле профессора Хайека). Историко-географические концепции характерны для историцизма в той же степени, что и историко-географические; возможно даже, что они для него более значимы. Например, центральным для историцизма является убеждение в том, что в задачи социальных наук входит открытие закона эволюции общества, позволяющее предсказать его будущее (взгляд, изложенный в разделах 14–17). Именно та идея, что общество в своем историческом развитии проходит через ряд периодов, с одной стороны, заставляет противопоставлять изменяющийся социальный мир и неизменный физический мир и тем самым ведет к историко-географизму. С другой стороны, из этого взгляда рождается историко-географическая и псевдонаучная вера в так называемые «естественные законы последовательности», — вера, которую во времена Конта и Милля поддерживал успех долгосрочных предсказаний астрономии, а в не столь отдаленные времена — дарвинизм. Так что недавняя мода на историцизм — лишь отзвук моды на эволюционизм — философию, которая стала влиятельной во многом благодаря скандальному столкновению блестящей научной гипотезы об истории земных животных и растений и древней метафизической теории, оказавшейся частью господствующей религии: Эволюционная гипотеза есть не что иное, как объяснение множества биологических и палеонтологических наблюдений, например подобий, существующих между различными видами и родами, с помощью допущения об общем происхождении родственных форм¹. Эта гипотеза — не универсальный закон, даже если она использует для своих построений некоторые универсальные законы природы, такие, как законы наследственности, отбора и изменчивости. Скорее, это частное (единичное или отдельное) историческое утверждение. (Такое же по статусу, как утверждение: «Дедом Чарлза Дарвина и Фрэнсиса Гальтона был один и тот же человек».) Это так, несмотря на то, что термин «гипотеза» употребляется для описания универсальных законов природы. Не следует забывать, что довольно часто мы используем этот термин в совершенно другом смысле. Например, гипотезой можно было бы назвать предварительный медицинский диагноз, хотя такая гипотеза носит единичный и исторический характер и не относится к разряду универсальных законов. Иначе говоря, гипотетический характер законов природы не означает, что все гипотезы являются законами.

Исторические гипотезы, как правило, — не универсальные, а единичные утверждения об индивидуальном событии или ряде таких событий.

Но существует ли закон эволюции? Может ли существовать научный закон в смысле Т. Хаксли, который писал: «Только равнодушный философ... может усомниться в том, что закон эволюции органических форм рано или поздно завоюет науку, — закон неизменного порядка в той великой цепи из причин и следствий, звеньями которой являются все органические формы — и древние, и современные».

Полагаю, что на этот вопрос следует ответить отрицательно. Поиски закона эволюции не имеют никакого отношения к научному методу — ни в биологии, ни в социологии. Доводы мои очень просты. Эволюция жизни на Земле или человеческого общества — уникальные исторические процессы. Предположим, что такой процесс происходит по всякого рода причинным законам — например, законам механики, химии, наследственности и изменчивости, естественного отбора и т. д. Однако описание этого процесса будет не законом, а единичным историческим утверждением. Универсальные же законы, по словам Хаксли, касаются некоего неизменного порядка, т. е. всех процессов определенного рода; и хотя возможно, что наблюдение одного-единственного случая приведет нас к формулировке универсального закона или, если повезет, мы случайно натолкнемся на истину, ясно, что сформулированный таким или любым другим способом закон должен быть проверен прежде, чем он будет принят наукой. Однако мы никогда не сможем проверить универсальную гипотезу или найти закон природы, приемлемый для науки, если ограничимся наблюдением одного уникального процесса. Наблюдая один уникальный процесс, мы не сможем даже предвидеть его развитие в будущем. Самое тщательное наблюдение за одной развивающейся гусеницей не позволит предсказать ее превращения в бабочку. В применении к истории человеческого общества — а именно она нас здесь интересует — этот аргумент был сформулирован, например, Фишером: «В истории видят план, ритм, предначертание... Я вижу лишь смену одного явления (emergency) другим... лишь один огромный факт, в отношении которого, в силу его уникальности, не может быть обобщений...»

Что можно на это сказать? В принципе те, кто верит в закон эволюции, могут занимать две позиции. Можно (а) отрицать точку зрения, согласно которой эволюционный процесс уникален, или (б) утверждать, что в эволюционном процессе, даже уникальном, есть направление, тенденция или вектор, и что мы можем сформулировать гипотезу о характере этой тенденции и проверить эту гипотезу на опыте. При этом позиции (а) и (б) не исключают друг друга.

Позиция (а) восходит к очень древней идее жизненного цикла — рождения, детства, юности, зрелости, старости и смерти, — применимого не только к животным и растениям, но и к обществам, расам и даже «миру в целом». Это учение использовано Платоном в его интерпретации заката и упадка греческих городов-государств и Персидской империи. Им также воспользовались Макиавелли, Вико, Шпенглер, а совсем недавно профессор Тойнби в своем внушительном сочинении «Постижение истории». С его точки зрения, история повторяется, и законы жизненного цикла цивилизации можно изучать так же, как мы, например, изучаем жизненный цикл определенного вида животных?? Из этой концепции следует (хотя ее творцы вряд ли об этом догадывались), что возражение, обращающее внимание на уникальность эволюционного или исторического процесса, теряет свою силу. Не стану отрицать (как этого не делал, я уверен, и профессор Фишер), что история может иногда и в чем-то повторяться, а параллели между историческими событиями, такими, как возникновение тираний в Древней Греции и в наше время, могут оказаться важными для исследователя социологии политической власти. Все эти случаи повторения связаны с обстоятельствами, которые весьма отличаются друг от друга и способны оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий. Поэтому нет серьезных причин ожидать, чтобы какое-то явное повторение продолжалось параллельно своему прототипу. Так, если мы верим в закон повторяющихся жизненных циклов (вера, обретенная в

аналогических спекуляциях или, быть может, унаследованная от Платона), то будем находить его историческое подтверждение на каждом шагу. Однако это не что иное, как просто метафизическая теория, которая только кажется подтвержденной фактами, — фактами, которые при более внимательном рассмотрении оказываются выбранными в угоду тем самым теориям, которые они должны проверить.'.

Обращаясь к позиции (б), к вере в то, что мы способны увидеть и экстраполировать направление или вектор эволюции, прежде всего заметим, что она оказала влияние на некоторые циклические гипотезы, представляющие позицию (а), и использовалась для их поддержки. Профессор Тойнби, например, выдвигает в поддержку позиции (а) следующие взгляды, характерные для позиции (б): «Цивилизации — не статические состояния общества, это динамические движения эволюционного характера. Они не просто не стоят на месте, но и не могут пойти вспять, не нарушая собственного закона движения».

Здесь налицо почти все элементы, характерные для позиции (б): идея социальной динамики (а не социальной статики); идея эволюционных движений обществ (под влиянием социальных сил); идея векторов (directions) (и хода, и скоростей) таких движений, которые принято называть необратимыми, их изменение нарушало бы законы движения. Все выделенные курсивом термины перенесены в социологию из физики, что вызвало ряд недоразумений, весьма грубых, но очень характерных для сциентистского злоупотребления физическими и астрономическими примерами. Конечно, за пределами истористского цеха" эти недоразумения не нанесли большого вреда. В экономике, например, термин «динамика» (ср. модный теперь термин «макродинамика») прижился, и это должны признать даже те, кому он не нравится. Этот термин ведет свое происхождение от попытки Конта применить к социологии существующее в физике различие статики и динамики, — попытки, представляющей собой величайшее недоразумение. Ибо общество, которое социолог называет статическим, аналогично физическим системам, которые физик назвал бы динамическими (хотя и стационарными). Типичным примером служит Солнечная система; это прототип динамической системы в физическом смысле; но поскольку она повторяется (repetitive), или «стационарна», не растет и не развивается, не претерпевает никаких структурных изменений (за исключением тех, которые не входят в сферу небесной динамики и которыми можно здесь пренебречь), постольку она может быть отнесена к тем социальным системам, которые социолог назвал бы статическими. Этот момент весьма важен в связи с притязаниями историзма, ибо успех долгосрочных астрономических предсказаний всецело обусловлен этим повторяющимся, а в социологическом смысле статическим характером Солнечной системы, — тем, что мы можем пренебречь любыми симптомами исторического развития. Было бы ошибкой полагать, что эти динамические долгосрочные предсказания, касающиеся стационарной системы, обосновывают возможность крупномасштабных исторических пророчеств, касающихся нестационарных социальных систем.

Сходные недоразумения возникают при применении к обществу других физических терминов. Иногда от этого нет никакого вреда. Что вредного, например, в том, чтобы назвать изменения в социальной организации, в методах производства и т. д. движением? Мы пользуемся метафорой, и при этом довольно обманчивой. Ибо, говоря о движении тела или системы тел в физическом смысле, мы не имеем в виду, что рассматриваемое тело или система претерпевает какое-либо внутреннее или структурное изменение, но только — что оно изменяет свое положение относительно некоторой (произвольно выбранной) системы координат. Социолог же под движением общества подразумевает некоторое структурное или внутреннее изменение. Соответственно, он будет объяснять движение общества силами, в то время как с точки зрения физика объяснению подлежат только изменения в движении, а не движение как таковое. Идеи о скорости социального движения, о его пути, или о ходе, о векторе также не вредны, пока их используют для передачи некоторых интуитивных впечатлений; но если они заключают в себе хоть какую-то научную претензию, то превращаются в сциентистский или, точнее, холический жаргон. Конечно, любое изменение измеримого социального фактора — например, рост народонаселения — можно графически

представить в виде следа, как путь движущегося тела. Однако в такой диаграмме не отображается то, что люди имеют в виду, говоря о движении общества. Следует учесть, что и «стационарное» народонаселение может испытать радикальное социальное потрясение. Конечно, можно соединить любое число таких диаграмм и создать единую многомерную схему. Но и в такой объединенной диаграмме мы не увидим путь движения общества: она не сообщает нам ничего, чего бы не было в единичных диаграммах вместе взятых, и представляет не движение «общества в целом», но только изменение отдельных его аспектов. Идея о том, что общество, подобно физическому телу, может двигаться как целое по определенному пути и в определенном направлении, есть просто холическое недоразумение¹.

Надежда на то, что можно найти «законы движения общества», подобные Ньютонovým законам движения физических тел, зиждется именно на этих недоразумениях. Поскольку не существует движения общества, в любом смысле подобного или аналогичного движению физических тел, не существует и законов его движения.

Но, скажут нам, вряд ли кто-нибудь усомнится в существовании направлений или тенденций социального изменения: такие направления может вычислить любой статистик. Разве они не сравнимы с Ньютонovým законом инерции? Ответ состоит в следующем: эти тенденции существуют, более точно — их допущение часто служит полезным статистическим приемом. Но тенденции — это не законы. Суждение о существовании направлений является экзистенциальным, а не универсальным. (В универсальном законе, с другой стороны, ничего не говорится о существовании; напротив, как было показано в конце раздела 20, в нем утверждается о невозможности тех или иных вещей.) Суждение о существовании (в определенное время и в определенном месте) направления было бы единичным историческим суждением, но не универсальным законом. Практическая значимость этой логической ситуации весьма высока: мы можем основывать научные предсказания на законах, но мы не можем (и это известно всякому статистику) основывать их на том, что тенденции существуют. Тенденция (возьмем в качестве примера тот же рост народонаселения), которая сохранялась сотни и даже тысячи лет, может измениться за десятилетие, и даже за еще более короткий срок.

Законы и тенденции весьма отличаются друг от друга¹. Несомненно, именно привычка путать тенденции и законы, а также интуитивное понимание того, что такое тенденции (такие, как технический прогресс), легли в основу центральных концепций эволюционизма и историцизма: 1) о непреложных законах биологической эволюции и 2) о необратимых законах движения общества. Из этой путаницы и этой интуиции родилась и концепция Конта о законах последовательности, до сих пор не утратившая своего влияния.

Знаменитому различению, проведенному Контом и Миллем, между законами сосуществования, «соответствующими» статике, и законами последовательности, «соответствующими» динамике, можно дать вполне рациональную интерпретацию: есть законы, в которые не входит понятие времени, и есть законы, в формулировку которых понятие времени входит (например, законы о скоростях) Однако Конт и его последователи имели в виду нечто иное. Говоря о законах последовательности, Конт подразумевал последовательность «динамических» рядов явлений в том порядке, в каком мы их наблюдаем. Далее, важно понять, что «динамических» законов последовательности, как их себе представлял Конт, не существует. Их нет в динамике (Я говорю именно о динамике.) Ближе всего к ним в естествознании (может быть, их Конт и имел в виду) — естественные периодичности, такие, как сезоны, фазы луны, затмения или, скажем, качание маятника. Но эти периодичности, в физическом смысле динамические (хотя и стационарные), в Контовом смысле назывались бы «статическими»; в любом случае, вряд ли это законы (поскольку они зависят от конкретных условий, преобладающих в Солнечной системе; см. следующий раздел). Я буду называть их квази-законами последовательности.

Решающим моментом здесь является следующее: хотя любая актуальная последовательность явлений и происходит согласно законам природы, важно осознать, что

практически ни один ряд, скажем, из трех или большего числа причинно связанных конкретных событий не подчиняется какому-то отдельному закону природы. Если ветер раскачал дерево и Ньютоново яблоко упало на землю, никто не станет отрицать, что эти события можно описать в терминах причинных законов. Но не существует какого-то одного закона, такого, как закон тяготения, или даже одного множества законов, которые могли бы описать актуальную или конкретную последовательность этих причинно связанных событий; помимо закона тяготения, нам следовало бы привлечь законы, объясняющие силу ветра, качание ветки, напряжение в черешке яблока, деформацию яблока при падении на землю, последующие химические процессы и т. д. Никакую конкретную цепь (sequence) или последовательность событий (исключая такие примеры, как движение маятника или Солнечной системы) нельзя описать или объяснить каким-либо одним законом или одним определенным множеством законов. Не существует ни законов последовательности, ни законов эволюции.

Конт и Милль считали свои исторические законы последовательности законами, определяющими цепь исторических событий в порядке их актуализации. Милль говорил о своем методе, что он «состоит в попытке с помощью изучения и анализа общих фактов истории открыть... закон прогресса; каковой закон, будучи установлен, должен... позволить нам предсказывать будущие события так же, как это происходит в алгебре, когда уже из первых членов бесконечного ряда становится понятным принцип регулярности их образования и мы можем предсказать, каким будет весь остальной ряд вплоть до любого члена». Сам Милль относился к этому методу критически; но при этом (см. начало раздела 28) полностью признавал возможность открытия законов последовательности, аналогичных законам математической последовательности, хотя и выражал сомнения в том, может ли «порядок последовательности... которую мы видим в истории, быть «строгим единообразным», так чтобы его можно было сравнить с математическим рядом».

Итак, не существует законов, определяющих последовательность таких «динамических» рядов событий. С другой стороны, существуют тенденции, имеющие такой «динамический» характер, например рост народонаселения. По-видимому, их-то Милль и имел в виду, когда говорил о законах последовательности. Подозрение это подтверждается самим Миллем, называющим свой исторический закон прогресса тенденцией. Обсуждая этот «закон», он выражает «веру... что общая тенденция есть и будет, за случайными и временными исключениями, тенденцией к лучшему, — тенденцией в направлении более счастливого и совершенного состояния. Это... теорема науки» (социальной науки). То, что Милль всерьез обсуждает вопрос, возвращаются ли «явления человеческого общества» «по орбите» или они движутся поступательным образом «по траектории», соответствует этому фундаментальному неразличению законов и тенденций, а также холической идее, согласно которой общество «движется» как целое, скажем наподобие планеты.

Не хотелось бы, чтобы меня неправильно поняли. Конт и Милль несомненно внесли величайший вклад в философию и методологию науки; в особенности это касается Контова анализа законов и научного предсказания, критики им эссенциалистской теории причинности и совместной с Миллем концепции единства научного метода. Но что касается исторических законов последовательности, то это просто набор плохих метафор.

28. Метод редукции. Причинное объяснение. Предсказание и пророчество

Критика концепции исторических законов последовательности в одном важном отношении не доведена до конца. Как я пытался показать, «векторы», или «тенденции», которые историцисты усматривают в последовательности событий, называемых историей, не являются законами. Я также указал, почему тенденцию, в отличие от закона, нельзя использовать как основу для научных предсказаний.

Из историцистов на такого рода критику смогли бы ответить только Конт и Милль.

Милль признал бы, что существует путаница с законами и тенденциями. Но он напомнил бы нам, что сам критиковал ученых, принимавших «единообразие исторической последовательности» за истинный закон природы, и специально подчеркивал, что такое единообразие — «лишь эмпирический закон» (термин не очень удачный) и не может считаться надежным, пока «через согласование априорной дедукции с историческим свидетельством» он не получит статус истинного закона природы. Он бы напомнил нам, что даже сформулировал «императивное правило — никогда не переносить обобщений из истории в социальную науку, если для этого нет достаточных оснований», т. е. если обобщение не дедуцировано из естественных законов, установленных независимым образом. (Милль имел в виду законы «человеческой природы», т. е. психологию.) Эту процедуру сведения исторических и иных обобщений к некоему множеству законов большей общности Милль назвал «обратным дедуктивным методом» и защищал его как единственно правильный метод истории и социологии.

В этом возражении есть свой резон. Если бы нам удалось свести тенденцию к множеству законов, тогда мы могли бы использовать ее, подобно закону, как основу для предсказаний. Поэтому такой редукции, или обратной дедукции, еще недостаточно, чтобы устранить различие между законами и тенденциями. Сила этого возражения проявляется также в том, что метод «обратной дедукции» дает верное (хотя и бессвязное) описание процедуры, используемой не только в социальных, но во всех науках, и в гораздо большей мере, чем это полагал Милль.

И все же моя критика сохраняет силу, и неразличение законов и тенденций не может быть принято. Но для того, чтобы показать это, требуется тщательный анализ редукции, или обратной дедукции.

Во всякий момент развития науки перед ней стоят те или иные проблемы. Она не может начинать с наблюдений или с «совокупности данных», как считают некоторые методологи. Прежде чем мы начинаем собирать «данные», уже должен существовать интерес к данным определенного рода. Вначале была проблема. Проблема, в свою очередь, исходит из практических нужд или научных и донаучных убеждений, которые по той или иной причине нуждаются в пересмотре.

Возникает же научная проблема, как правило, из потребности в объяснении. Следуя Миллю, будем различать два случая: объяснение индивидуального, или единичного, специфического события и объяснение некоторой регулярности, или закона. Милль формулирует это следующим образом: «Индивидуальный факт считается объясненным, если указана его причина, т. е. установлены закон или законы... согласно которым он случается. Так, возникновение огня объяснено, если доказано, что он возник из искры, попавшей в горючие материалы; подобно этому, закон... считается объясненным, если указаны закон или законы, частным случаем которых он является и из которых его можно дедуцировать». Объяснение закона есть случай «обратной дедукции» и, следовательно, важен в нашем контексте.

Миллево объяснение объяснения или, лучше сказать, причинного объяснения в главных моментах вполне приемлемо. Но для некоторых целей оно недостаточно точно; и это играет немаловажную роль в интересующем нас здесь вопросе.

Причинное объяснение некоторого специфического события заключается в дедукции утверждения, описывающего это событие, из посылок двоякого рода: во-первых, из универсальных законов и, во-вторых, из единичных, или специфических, утверждений, которые можно назвать специфическими начальными условиями. Например, мы причинно объясняем разрыв нити, когда обнаруживаем, что эта нить могла выдержать груз всего в один фунт, а на ней было подвешено два фунта. Анализ этого причинного объяснения выявляет в нем две составляющие: (1) гипотезы, имеющие характер универсальных законов природы; в этом случае мы имеем утверждения: «всякой нити данной структуры s (определяемой материалом, толщиной и т. д.) соответствует вес w такой, что она порвется, если подвесить любой груз, превышающий w »; и «для всякой нити структуры s ,

соответствующий вес w , равен одному фунту». (2) Специфические (единичные) утверждения — начальные условия, относящиеся к данному событию; в этом случае у нас могут быть два утверждения: «это — нить структуры s ,» и «груз, подвешенный на нити, равен двум фунтам». Таким образом, мы имеем две составляющие, утверждения двух родов, которые вместе дают полное причинное объяснение: (1) общие утверждения, имеющие характер естественных законов, и (2) специфические утверждения, касающиеся особого рассматриваемого нами случая, которые называются «начальными условиями»[^]. Далее, из универсальных законов (1) мы можем дедуцировать с помощью начальных условий (2) следующее специфическое утверждение (3): «эта нить порвется». Это заключение (3) мы можем также назвать специфическим прогнозом. Начальные условия (точнее, ситуация, которую они описывают) обычно считают причиной рассматриваемого события, а прогноз (или, скорее, событие, описываемое прогнозом) — следствием; например, подвешивание двух фунтов на нити, способной выдержать один фунт, было причиной, а разрыв нити — следствием*.

Этот абзац, содержащий анализ причинного объяснения специфического события, является почти точной цитатой из моей книги «*Logic of Scientific Discovery*», section 12. Сегодня я склоняюсь к тому, чтобы определять «причину», беря за основу семантику Тарского (которой я не знал, когда писал данную книгу): (единичное) событие А считается причиной (единичного) события Б, если и только если из множества истинных универсальных утверждений (законов природы) следует материальная импликация, в которой левый член обозначает А, а правый член — Б. Подобным же образом можно определить и понятие «научно признанной причины». О семантическом понятии обозначения см.: R. Carnap. *Introduction to Semantics* (1942). По-видимому, определение может быть улучшено, если использовать «абсолютные понятия», по выражению Карнапа. — О некоторых исторических предпосылках, касающихся проблемы причинности, см. примечание 7 к главе 25 моей книги «*The Open Society and Its Enemies*».

Причинное объяснение является научно приемлемым в том случае, когда универсальные законы проверены и подтверждены, а также когда имеется независимое свидетельство в пользу причины, т. е. начальных условий.

Прежде чем перейти к анализу причинного объяснения регулярностей или законов, замечу, что из нашего анализа (объяснения единичных событий) следует несколько выводов. Во-первых, нельзя говорить о причине и следствии как о каких-то абсолютах; некое событие является причиной другого события — его следствия, — если рассматривать его в свете некоторого универсального закона. Однако эти универсальные законы зачастую столь тривиальны (как в нашем примере), что мы относимся к ним обычно как к чему-то само собой разумеющемуся. Во-вторых, использование теории для предсказания некоторого специфического события является просто одним из аспектов ее использования для объяснения этого события. И поскольку мы проверяем теорию, сравнивая предсказанные события с событиями, которые произошли в действительности, наш анализ также указывает, каким образом можно проверить теорию. В каких целях теория используется — для объяснения, предсказания или проверки, — зависит от наших интересов, а также от того, какие утверждения мы считаем само собой разумеющимися или непроблематичными, а какие — подлежащими дальнейшей критике и проверке. (См. раздел 29.)

Причинное объяснение регулярности, описываемой универсальным законом, несколько отличается от [причинного] объяснения единичного события. С первого взгляда может показаться, что эти случаи аналогичны и что закон должен быть дедуцирован из (1) некоторых более общих законов и (2) определенных специфических условий, которые соответствуют начальным условиям, но не являются единичными и относятся к ситуации определенного рода. В данном случае это не так, ибо условия (2) должны быть сформулированы в законе, который мы желаем объяснить; в противном случае этот закон будет противоречить (1). (Например, если с помощью Ньютоновой теории мы желаем объяснить закон, согласно которому все планеты движутся по эллипсам, то должны вначале

сформулировать в этом законе условия, при которых он будет истинен, — например, таким образом: «Если ряд планет, достаточно удаленных друг от друга, чтобы не испытывать почти никакого взаимного притяжения, движутся вокруг гораздо более тяжелого, чем они, солнца, тогда каждая из них движется, по эллипсу, с солнцем в одном из фокусов этого эллипса». Иными словами, формулировка универсального закона, который мы желаем объяснить, должна включать все условия его истинности; в противном случае мы не можем считать его универсальным (или, как говорил Милль, безусловным). Соответственно, приличное объяснение регулярности состоит в дедукции закона (содержащего условия, при которых эта регулярность выполняется) из некоторого множества более общих законов, проверенных и подтвержденных независимым образом.

Сравним теперь нашу трактовку причинного объяснения с той трактовкой, которая была предложена Миллем. Мы увидим, что пока речь идет о сведении законов к более общим законам, т. е. о причинном объяснении регулярностей, большой разницы между ними нет. Но, когда Милль обсуждает причинное объяснение единичных событий, ясного различия между (1) универсальными законами и (2) специфическими начальными условиями он не проводит. Вызвано это тем, что термин «причина» употребляется им в недостаточно ясном смысле, под причиной Милль имеет в виду то единичные события, то универсальные законы. Покажем теперь, как это влияет на объяснение, или сведение тенденций.

То, что редукция или объяснение тенденций логически возможны, не вызывает никаких сомнений. Допустим, мы обнаружили, что планеты медленно падают на Солнце. В таком случае Солнечная система оказалась бы динамической системой в смысле Конта; она бы развивалась или обладала историей, имеющей определенную тенденцию. Эту тенденцию можно было бы легко объяснить в ньютоновской физике с помощью допущения (проверенного независимым образом), что межпланетное пространство заполнено каким-нибудь оказывающим сопротивление веществом, например газом. Это было бы новое специфическое начальное условие, которое следовало бы прибавить к обычным начальным условиям, касающимся расположения и импульсов планет в некоторое данное время. Пока новое начальное условие сохраняется, мы имеем систематическое изменение, или тенденцию. Далее, если изменение значительно, тогда оно должно оказывать заметное систематическое влияние на биологию и историю различных земных видов, включая человеческую историю. Это показывает способ объяснения определенных эволюционных и исторических тенденций — даже «общих тенденций», т. е. тенденций, которые сохраняются на протяжении всего рассматриваемого периода развития. Очевидно, что эти тенденции аналогичны «квази-законам» последовательности (сезонные периодичности и т. д.), упомянутым в предыдущем разделе, с той разницей, что они являются динамическими. Поэтому они даже в большей степени, чем статические «квази-законы», соответствуют туманной идее Конта и Милля об эволюционных или исторических законах последовательности. Итак, если у нас есть основания допустить, что соответствующие начальные условия сохраняются, тогда можно согласиться с тем, что сохраняются и эти тенденции или динамические «квази-законы»; так что их можно использовать, подобно законам, для предсказаний. Нет сомнения, что такие объясненные тенденции (назовем их так), или в принципе объяснимые тенденции, играют весьма значительную роль в современной эволюционной теории. Помимо тенденций, относящихся к эволюции определенных биологических форм, таких, как раковины и носороги, объяснимой оказывается и общая тенденция к увеличению числа и разнообразия биологических форм, которые распространяются в расширяющейся окружающей среде. Она объяснима в терминах биологических законов, а также начальных условий, которые содержат допущения, касающиеся среды обитания организмов, и которые, наряду с законами, предполагают действие важного механизма, называемого естественным отбором.

Кажется, будто все это говорит против нас и в пользу взглядов Милля и историцизма. Но это не так. Объясненные тенденции существуют, но их дальнейшее существование зависит от сохранения определенных специфических начальных условий (которые тоже

могут быть тенденциями).

Итак, Милль и его друзья историцисты не видят зависимости тенденций от начальных условий. Они оперируют с тенденциями так, как будто они безусловны, подобно законам. Смещение законов и тенденций заставляет их верить в безусловные тенденции (которые поэтому являются общими); или — скажем так — в «абсолютные тенденции*», например, в общую историческую тенденцию к прогрессу, к «лучшему и более счастливому состоянию». И если они вообще размышляют о «редукции» тенденций к законам, то считают эти тенденции непосредственно выводимыми из универсальных законов, таких как законы психологии (или, допустим, диалектического материализма и т. д.).

В этом, собственно говоря, и состоит главная ошибка историцизма. Его «законы развития» суть абсолютные тенденции, — тенденции, которые, подобно законам, не зависят от начальных условий и неумолимо ведут нас по определенному пути в будущее. Они составляют основу для безусловных пророчеств, которые следует отличать от обусловленных научных предсказаний.

Но как мы должны относиться к тем, кто понимает, что тенденции зависят от условий, пытается их найти и сформулировать? Спорить с ними не имеет смысла. Напротив, в существовании тенденций нет никакого сомнения. Поэтому необходимо их объяснить, т. е. как можно точнее определить условия их сохранения. (См. раздел 32.).

Иногда условия не так легко заметить. Например, существует тенденция к «концентрации» средств производства (по формулировке Маркса). Но вряд ли можно ожидать, что она сохранится при быстро уменьшающемся населении» а такое сокращение населения может, в свою очередь, зависеть от внеэкономических условий, например, от случайных изобретений или от прямого физиологического (или биохимического) воздействия индустриальной среды. Существует бесчисленное множество возможных условий; занимаясь поиском условий существования тенденций, мы должны видеть и те условия, при которых данная тенденция прекратила бы свое существование. Но как раз с этим историцист и не может справиться. Он твердо верит в свою любимую тенденцию, и ему кажется немыслимым, чтобы условия ее существования исчезли. Нищета историцизма есть главным образом нищета воображения. Историцист упрекает тех, кто не способен признать изменений в своих мирках. Однако сам он даже не способен представить, что существует изменение, происходящее в условиях изменения.

29. Единство метода

Как уже говорилось, дедуктивные методы получили широкое распространение, и значимость их гораздо более высока, чем мог предположить, например, Милль. В этом разделе я надеюсь пролить хоть какой-то свет на дискуссию натурализма и онтинатурализма. Речь пойдет о концепции единства метода; иначе говоря, о том, что все теоретические, или обобщающие науки (неважно, естественные или социальные) пользуются одним и тем же методом. (Обсуждение исторических наук будет отложено до раздела 31.) При этом будут затронуты те понятия историцизма, о которых пока не шло речи, такие, как Обобщение, Эссенциализм, Интуитивное Понимание, Неточность Предсказания, Сложность, Количественные Методы.

Не стану утверждать, что между методами теоретических наук о природе и об обществе не существует никаких различий; они есть даже между разными естественными науками, так же как и между различными социальными науками. (Сравним, например, анализ конкурентных рынков и анализ языков романской группы.) Но я согласен с Контом и Миллем — и со многими другими, такими, как К. Менгер, — что методы, применяемые в этих двух областях знания, в сущности своей одинаковы (методы, которые я имею в виду, наверное, отличаются от методов, которые имели в виду Конт и Милль). Они заключаются в выдвигании дедуктивных причинных объяснений и их проверке (через проверку предсказаний). Иногда это называется гипотетико-дедуктивным методом, чаще —

гипотетическим методом, поскольку он не сообщает абсолютной достоверности проверяемым с его помощью научным положениям.

Научные утверждения всегда сохраняют характер предварительных гипотез, даже если они выдерживают ряд жестких проверок.

Большинство методологов считают гипотезы временными в том смысле, что в конечном счете они должны быть заменены доказанными теориями (или, по крайней мере, «достаточно вероятными» теориями, в смысле исчисления вероятностей). Думаю, что этот взгляд ошибочен и ведет к множеству никому не нужных трудностей. Но эта проблема нас здесь не интересует. Важно только понять, что в науке мы всегда имеем дело с объяснениями, предсказаниями и проверками и что метод проверки гипотез всегда один и тот же (см. предыдущий раздел). Из гипотезы, которую требуется проверить — например, из универсального закона, вместе с некоторыми другими утверждениями, рассматриваемыми в связи с этим как проблематичные, например с утверждениями о некоторых начальных условиях, — мы дедуцируем наш прогноз. Затем мы сравниваем этот прогноз с результатами экспериментальных и иных наблюдений. Соответствие наблюдений прогнозу считается подтверждением гипотезы, хотя и не окончательным ее доказательством; несоответствие рассматривается как опровержение, или фальсификация.

В рамках этого анализа большого различия между объяснением, предсказанием и проверкой не существует. Различие касается не логической структуры, но акцента и зависит от того, что именно мы считаем проблемой, а что таковой не считаем. Если проблема в том, чтобы отыскать прогноз, и в то же время в том, чтобы найти начальные условия или некоторые универсальные законы (или и в том, и в другом), из которых мы можем дедуцировать некоторый данный «прогноз», тогда мы ищем объяснения (и данный «прогноз» становится тем, что требуется «объяснить», *explicandum*'ом). Если мы рассматриваем законы и начальные условия как данные (а не как искомые) и используем их для дедукции прогноза с целью получения некоторой новой информации, тогда мы занимаемся предсказанием. (В этом случае мы применяем наши научные результаты.) Если же мы будем рассматривать одну из посылок — т. е. либо универсальный закон, либо начальное условие — как проблематичную, а прогноз — как подлежащий сравнению с результатами опыта, тогда речь пойдет о проверке проблематичной посылки.

Результатом проверок является отбор тех гипотез, которые выдержали проверку, и элиминация гипотез, которые ее не выдержали. Важно осознать последствия этой позиции. Все проверки суть попытки отсеять ложные теории — найти слабые пункты и отвергнуть теорию, если проверка приводит к ее фальсификации. Иногда такой взгляд считают парадоксальным; ведь нашей целью является обоснование теории, а не уничтожение ложных теорий. Но именно поэтому мы должны подходить со всей строгостью к проверке теорий, мы должны искать в них ошибки и стремиться их фальсифицировать. И только если нам не удалось этого сделать, несмотря на все наши усилия, только тогда можно сказать, что теории выдержали проверку. Подтверждение теории почти ничего не значит, если мы не нашли и даже не пытались найти ее опровержения. Если мы не критичны, то всегда найдем то, что нам хочется найти: в результате поисков найдутся подтверждения, а того, что будет представлять опасность для наших любимых теорий, мы просто не заметим. Получить безграничные свидетельства в пользу теории легче легкого. А при критическом подходе ее пришлось бы отвергнуть. Чтобы метод отбора через элиминацию работал и из теорий выживали достойнейшие, не следует облегчать им жизнь.

Таков в общих чертах метод всех опытных наук. Но что мы можем сказать о методе, с помощью которого получают теории или гипотезы? Что сказать об индуктивных обобщениях и о пути от наблюдения к теории? На этот вопрос я отвечу следующим образом (мой ответ будет касаться и концепций, обсужденных в разделе 1, в том случае, если они не были обсуждены в разделе 26). (а) Я не верю, что мы вообще делаем индуктивные обобщения в том смысле, что начинаем с наблюдений и извлекаем из них теории. Полагаю, что это нечто вроде оптической иллюзии. Ни на одной из ступеней научного развития нельзя

начинать без какого-то подобия теории, будь это гипотеза, предубеждение или проблема, часто технологическая, которая направляет наши наблюдения и помогает отбирать из бесчисленных объектов наблюдения те, которые представляют для нас интерес. Коли так, метод элиминации — тот же метод проб и ошибок, обсужденный в разделе 24, — применим во всех случаях. Не думаю, однако, что мы должны останавливаться на этом пункте. Ибо мы можем сказать, что (б) с точки зрения науки не имеет значения, как мы получили теории: совершили ли мы прыжок к необоснованным выводам, или же просто споткнулись о них (т. е. прибегнули к помощи «интуиции»), или же применили индуктивную процедуру. Вопрос «как вы открыли теорию?» касается чисто личных вещей в отличие от вопроса «как вы проверили теорию?». Только последний является научно значимым вопросом. Метод проверки, который мы изложили, является плодотворным; он ведет к новым наблюдениям и взаимодействию теории и наблюдения.

Далее, все это, по-моему, справедливо и для социальных наук, а не только для естествознания. В социальных науках это еще очевиднее, здесь мы не сможем увидеть и наблюдать объекты до того, как их помыслим. Ибо большинство объектов социальной науки, а может быть, и все ее объекты — это объекты абстрактные, теоретические конструкции. (Даже «война» или «армия» — как это ни покажется кому-то странным — суть абстрактные понятия. К области конкретного относятся убитые, мужчины и женщины в военной форме и т. д.) Эти объекты, эти теоретические конструкции, используемые в интерпретации нашего опыта, являются результатом построения определенных моделей (особенно моделей институтов). Последнее — известный теоретический метод, распространенный в естественных науках (где мы конструируем модели атомов, молекул, твердых тел, жидкостей и т. д.) и представляющий собой часть метода объяснения через редукцию, или метода дедукции из гипотез. Очень часто мы не понимаем, что оперируем гипотезами или теориями, и потому начинаем считать их конкретными вещами. Это весьма распространенная ошибка. Модели часто используют таким способом, и это объясняет — и тем самым разрушает — концепции методологического эссенциализма (см. раздел 10). Объясняет — ибо модель является абстрактной, или теоретической, и мы склонны чувствовать, видеть ее внутри изменяющихся наблюдаемых событий или за ними, как своего рода призрак или сущность. Разрушает — потому что задача социальной теории состоит в том, чтобы строить социологические модели и анализировать их в дескриптивных или номиналистических терминах, иначе говоря, в терминах индивидов, их установок, ожиданий, отношений и т. д. Это можно было бы назвать постулатом «методологического индивидуализма».

Анализ двух отрывков из работы профессора Хайека «Сциентизм и изучение общества» («Scientism and the Study of Society») поможет нам проиллюстрировать и одновременно защитить тезис о единстве методов естественных и социальных наук.

Хайек пишет: «физику, желающему понять проблемы социальных наук по аналогии со своей собственной областью исследований, следует вообразить мир, в котором было бы возможно прямое наблюдение внутреннего устройства атомов и где он не мог бы ни ставить эксперименты с веществом, ни наблюдать что-либо, кроме взаимодействия сравнительно небольшого числа атомов на протяжении ограниченного периода времени. Пользуясь своим знанием об атомах, он мог бы строить модели более крупных единиц и делать эти модели все более правдоподобными. Но законы макрокосма, которые он мог бы извлекать из своего знания микрокосма, все-таки носили бы «дедуктивный» характер; а ограниченное знание о сложной ситуации вряд ли позволило бы точно предсказать результат какой-то частной ситуации; кроме того, он никогда не смог бы верифицировать эти законы с помощью контролируемого эксперимента — хотя их можно было бы опровергнуть, наблюдая события, которые, с точки зрения его теории, невозможны».

Первая фраза в этом отрывке указывает на определенные различия, существующие между социальной и физической наукой. Остальное свидетельствует, на мой взгляд, в пользу единства метода. Ибо если мы правильно описываем метод социальной науки, то он отличается только от тех интерпретаций метода естественной науки, которые мы уже

отвергли. Я имею в виду прежде всего «индуктивистскую» интерпретацию, согласно которой в естественных науках мы систематически движемся от наблюдения к теории, пользуясь методом обобщения, и можем «верифицировать» или даже доказать наши теории, пользуясь методом индукции. Я защищаю здесь совершенно иную точку зрения и интерпретирую научный метод как дедуктивный, гипотетический, селективный (через фальсификацию) и т. д. Мое описание метода естественной науки вполне согласуется с тем описанием метода социальной науки, которое дает Хайек. (Когда я разрабатывал свою интерпретацию, то имел в виду исключительно естественные науки и практически ничего не знал о науках социальных.)

Но и различия, о которых говорится в начале цитированного отрывка, не так велики, как это может показаться. Конечно, наше знание о «внутреннем устройстве человеческого атома» является более непосредственным, чем знание о внутреннем строении физических атомов; но все равно это — знание интуитивное. Конечно, мы используем наше знание о самих себе для того, чтобы строить гипотезы о других людях. Но эти гипотезы должны быть проверены, к ним должен быть применен метод отбора через элиминацию. (Интуиция иногда мешает, например, кому-то трудно представить, что шоколад можно не любить.) Физику, правда, когда он строит свои гипотезы об атомах, такое непосредственное наблюдение не помогает; однако он довольно часто пользуется симпатическим воображением или интуицией, которые дают ему ощущение близкого знакомства с «внутренним устройством атомов», с их капризами и причудами. Впрочем, это его личное дело. Науку интересуют только гипотезы, пусть вдохновленные интуицией, но богатые в своих следствиях и поддающиеся проверке. (О другом различии, упомянутом Хайеком, т. е. о трудности проведения экспериментов, см. раздел 24.)

Эти немногие замечания указывают также на способ критики историцистской концепции, изложенной в разделе 8 (т. е. метода интуитивного понимания.)

Приведем еще одну цитату из Хайека: «Знание принципа появления событий редко когда позволяет точно предсказать результат конкретной ситуации. Объяснив этот принцип, мы можем исключить возможность появления опеределенных результатов, например некоторых событий, однако наше знание будет в каком-то смысле чисто негативным и круг возможностей не сузится до такой степени, чтобы осталась только одна из них».

Все это весьма далеко от ситуации, специфической для социальных наук, но служит прекрасным описанием естественных законов, которые и в самом деле могут только исключать определенные возможности. («Носить воду в решете»; см. раздел 20.) В отрывке также говорится, что мы, как правило, не способны «точно предсказать результат конкретной ситуации». Это ставит проблему неточности предсказания (см. раздел 5). Полагаю, что то же самое можно сказать и о физическом мире. Вообще говоря, предсказывать физические события можно, только используя искусственную экспериментальную изоляцию. (Солнечная система составляет исключение — это случай естественной, а не искусственной изоляции; как только изоляция нарушается и вторгается инородное тело достаточно больших размеров, все наши прогнозы оказываются несостоятельными.) Пока что мы очень далеки от того, чтобы предсказывать (даже в физике) точные результаты конкретной ситуации, такой, как буря или пожар.

Позволю себе небольшую реплику по поводу проблемы сложности (см. раздел 4). Несомненно, анализ любой конкретной социальной ситуации весьма затрудняется ее сложностью. Но то же самое справедливо и в отношении любой конкретной физической ситуации. Мнение о большей сложности социальных ситуаций есть предрассудок, и появляется он, по-видимому, из двух источников. Во-первых, мы склонны сравнивать то, что не следует сравнивать; например, не надо сравнивать конкретные социальные ситуации и искусственно обособленные экспериментальные ситуации в физике. (Последние сравнимы, скорее, с искусственно обособленными социальными ситуациями — такими, как тюрьма или экспериментальная община.) Во-вторых, полагают, что описание социальной ситуации должно включать ментальные, а то и физические состояния всех входящих в нее людей (или

даже что она должна к ним сводиться). Но эта вера необоснованна; она еще менее обоснованна, чем требование включить в описание конкретной химической реакции атомные и субатомные состояния элементарных частиц (хотя химия и редуцируется к физике). В ней чувствуется влияние того наивного взгляда, что социальные реальности (entities), такие, как институты или какие-то ассоциации, суть конкретные природные реальности вроде человеческой толпы, а не абстрактные модели определенных отношений между индивидами.

В действительности, однако, есть все основания полагать, что и социальная наука, и конкретные социальные ситуации не столь сложны, как физика и конкретные физические ситуации. Ибо в большинстве социальных ситуаций, если не во всех, присутствует элемент рациональности. Разумеется, речь идет не о том, что человеческие существа всегда действуют рационально (т. е. оптимально используя всю имеющуюся информацию для достижения своих целей); они действуют более или менее рационально; и поэтому можно построить сравнительно простые модели их действий и взаимодействий, используя эти модели как аппроксимации.

Последний пункт, как мне кажется, указывает на существенное различие естественных и социальных наук — быть может, на самое важное их различие, поскольку другие различия (специфические трудности в проведении экспериментов, см. конец раздела 24, и применение количественных методов, см. ниже) представляют собой различия в степени, а не в сути дела. Я имею в виду то, что можно было бы назвать методом логической или рациональной конструкции, или «нулевым методом». Это метод построения модели, основанный на допущении о рациональности (и владении всей информацией) всех имеющих отношение к делу индивидов и отклонении действительного поведения людей от модельного поведения, выступающего в качестве своего рода нулевой координаты; Примером этого метода является сравнение действительного поведения (под влиянием, скажем, традиционного предрассудка и т. д.) и модельного поведения, ожидаемого на основании «чистой логики выбора», которая описывается уравнениями экономики. Работа Маршака «Денежная иллюзия», например, может быть интерпретирована именно таким образом. Попытку применения нулевого метода можно найти у П. Саржент Флоренса, сравнивающего «логику крупномасштабных процессов» в промышленности и «иллогичность процессов, которые происходят в действительности».

По ходу дела хотелось бы пояснить, что ни принцип методологического индивидуализма, ни принцип «нулевого метода» в построении рациональной модели не предполагают использования психологического метода. Напротив, социальные науки довольно независимы от психологических допущений, и психология является не основой всего социального знания, а всего лишь одной из многих социальных наук.

В заключение раздела следует сказать еще об одном существенном различии в методах теоретических наук о природе и теоретических наук об обществе. Это трудности, связанные с применением количественных методов, и особенно методов измерения. Некоторые из них могут быть преодолены (и преодолевались) с помощью статистических методов, например, при анализе спроса. И они должны быть преодолены, чтобы, например, уравнения математической экономики служили основой даже для решения чисто качественных проблем; ибо без измерения мы остаемся в неведении относительно того, насколько сильным было влияние противодействующих факторов и какое воздействие оно оказало на результат, который предсказывался в качественных терминах. Качественные оценки иногда бывают обманчивы; они так же обманчивы, как, цитируя профессора Фриша, «утверждение, что если человек в лодке гребет вперед, то лодка пойдет назад из-за давления, оказываемого ногами гребца»*. Несомненно, мы сталкиваемся здесь с фундаментальными трудностями. В физике, например, параметры уравнений могут быть в принципе редуцированы к небольшому числу природных констант, и эта редукция во многих случаях действительно была проведена. В экономике дело обстоит иначе, здесь сами параметры могут оказаться быстро меняющимися переменными. Разумеется, это уменьшает значимость наших измерений, делает трудной их интерпретацию и проверяемость.

30. Теоретические и исторические науки

Тезис о единстве научного метода может быть распространен, с некоторыми ограничениями, и на область исторических наук. Это можно сделать, сохранив фундаментальное различие теоретических и исторических наук: с одной стороны, социологии, экономики и политологии, а с другой — социальной, экономической и политической истории, — различия, на котором так настаивали лучшие историки. По сути дела, это различие интереса к универсальным законам и интереса к частным фактам. Мне хочется выступить в защиту позиции (столь часто бранимой за старомодность), согласно которой историк интересуется действительными единичными или специфическими событиями, а не законами или обобщениями.

Эта точка зрения вполне совместима с анализом научного метода, в частности, причинного объяснения. В то время как теоретические науки главным образом занимаются поиском и проверкой универсальных законов, исторические науки принимают универсальные законы за нечто само собой разумеющееся и заинтересованы главным образом в том, чтобы найти и проверить единичные утверждения. Например, имея определенный единичный *explicandum* — единичное событие, — они займутся поиском единичных начальных условий (вместе с универсальными законами, которые, быть может, и не представляют интереса), объясняющими этот *explicandum*. Или же они могут проверить данную единичную гипотезу, используя ее вместе с другими единичными утверждениями как начальное условие и дедуцируя из начальных условий (опять же при помощи универсальных законов) некий «прогноз», например описывающий событие, случившееся в далеком прошлом и соответствующее эмпирическому свидетельству — документам, надписям и т. д.

Поэтому всякое причинное объяснение единичного события может считаться историческим в той мере, в какой «причина» описывается с помощью единичных начальных условий. Это полностью согласуется с распространенной идеей, согласно которой объяснить нечто причинно — значит показать, как и почему это нечто произошло, иначе говоря — рассказать, что это такое. Но только история действительно занимается причинным объяснением единичного события. В теоретических науках такие причинные объяснения — лишь средства для достижения другой цели — проверки универсальных законов.

Но тогда жгучий интерес к вопросам происхождения, который проявляют некоторые эволюционисты и историцисты, презирующие старомодную историю и желающие преобразовать ее в теоретическую науку, оказывается совершенно неуместным. Спрашивать о происхождении — значит задавать вопросы «как» и «почему». Такие вопросы с теоретической точки зрения сравнительно незначимы и обычно интересны только историкам.

Моя трактовка исторического объяснения вызывает то возражение, что в истории универсальные законы все же используются, и делается это вопреки частым декларациям историков о том, что история вообще не интересуется такими законами. Можно ответить на это, что единичное событие выступает причиной другого единичного события, которое является его следствием только в свете некоторых универсальных законов. Но такие законы могут быть настолько тривиальными и обыденными, что о них не стоит и упоминать, а тем более замечать их существование. Если мы говорим, что причиной смерти Джордано Бруно явилось его сожжение на костре, то не обязательно упоминать при этом универсальный закон, гласящий, что все живые существа при высокой температуре погибают. Такой закон неявно подразумевается.

Среди теорий, которые служат предпосылками политической истории, имеются и социологические концепции — например, социология власти. Но историк, как правило, не осознает этого. Он не использует их как универсальные законы, помогающие проверить частные гипотезы. Эти теории неявно содержатся в его терминологии. Говоря о

правительствах, нациях и армиях, он пользуется, как правило бессознательно, «моделями», полученными с помощью научного или донаучного социологического анализа (см. предыдущий раздел).

Заметим: исторические науки не стоят особняком в своем отношении к универсальным законам. Везде, где мы встречаемся с применением науки к единичной или частной проблеме, обнаруживается сходная ситуация. Химик, желающий провести анализ некоторого соединения — скажем, куска породы, — вряд ли думает о каком-либо универсальном законе. Вместо этого он применяет, и возможно без излишних раздумий, некоторую стандартную процедуру, которая с логической точки зрения является проверкой единичной гипотезы, такой, как «это соединение содежит серу». Интерес его является главным образом «историческим» — это описание одной совокупности событий или одного индивидуального физического тела.

Думаю, этот анализ прояснит известные споры между методологами. Одни из них утверждают, что история, не просто перечисляющая факты, но и пытающаяся представить их в причинной связи, должна формулировать исторические законы, поскольку причинность — это главным образом детерминация посредством закона. Другие историцисты защищают тезис, что даже «уникальные» события — события, которые случаются только один раз и не имеют между собой ничего «общего», — могут быть причиной других событий, и именно такого рода причинность и интересует историю. Как мы видим, и те и другие в чем-то правы, а в чем-то неправы. И универсальный закон, и единичные события необходимы для любого причинного объяснения, но за пределами теоретических наук универсальными законами обычно не интересуются.

Это подводит нас к вопросу об уникальности исторических событий. Если мы занимаемся историческим объяснением типических событий, то их необходимо рассматривать именно как типические, как принадлежащие к родам или классам событий. И тогда может быть применен дедуктивный метод. Однако историю интересует не только объяснение, но и описание события как такового. Одной из важнейших ее задач является описание происшествий (happenings) в их специфичности или уникальности; иными словами — тех аспектов, которые она не объясняет причинно, например, «случайного» совпадения причинно не связанных событий. Эти две задачи истории, распутывание связанных нитей и описание того «случайного» способа, каким эти нити сплетаются, необходимы и дополняют друг друга; в один момент времени событие можно рассмотреть как типическое, т. е. взглянуть на него с точки зрения причинного объяснения, а в другой момент времени — как уникальное.

Эти соображения имеют отношение и к вопросу о новизне (см. раздел 3). Различение «новизны комбинации» и «подлинной новизны» соответствует нашему теперешнему различению «позиции причинного объяснения» и «позиции уникальности». Если новизну можно рационально проанализировать и предсказать, то не может быть и речи о ее «подлинности». Это опровергает и историцистскую концепцию, согласно которой социальная наука должна заниматься предсказанием существенно новых событий; в конечном счете такая претензия основана на недостаточном анализе предсказания и причинного объяснения.

31. Ситуационная логика. Историческая интерпретация

Но неужели это все? Неужели ничего больше нет в требовании историциста реформировать историю, в идее социологии, играющей роль теоретической истории, или теории исторического развития (см. разделы 12 и 16)? А историцистская идея «периодов», «духа» или «стиля» века; неборимых исторических тенденций; движений, пленяющих души, захлестывающих, несущих куда-то, словно поток? Всякий, кто читал рассуждения Толстого в «Войне и мире» — несомненно историцистские, но отличающиеся

искренностью, — о движении западных людей на Восток и о противоположном движении русских людей на Запад, должен понимать, что историцизм отвечает какой-то реальной потребности. И прежде чем мы сможем всерьез надеяться на избавление от историцизма, мы должны предложить нечто лучшее.

Историцизм Толстого есть реакция на метод, отводящий главную роль в происходящем великому человеку, лидеру (слишком большую роль, если Толстой прав, а он, конечно, прав). Толстой доказывает, и на мой взгляд успешно, какое малое влияние имели действия и решения Наполеона, Александра, Кутузова и других великих лидеров 1812 года в сравнении с тем, что можно было бы назвать логикой событий. Он указывает — и справедливо — на значение решений и действий бесчисленных никому не известных индивидов, которые сражались на полях войны, подожгли Москву и изобрели партизанские методы борьбы. В этих событиях, говорит Толстой, видна своего рода историческая детерминация — судьба, исторические законы или план. В его версии историцизма соединены и методологический индивидуализм, и коллективизм; иначе говоря — это типичное для того времени (и, боюсь, также для нашего) сочетание демократически-индивидуалистических и коллективистско-националистических элементов.

Некоторые здоровые элементы в историцизме несомненно есть: прежде всего, историцизм — это реакция на наивную интерпретацию политической истории как истории великих тиранов и великих генералов. Историцисты правы, этот метод — не из лучших. Именно поэтому их «духи» — дух века, дух нации, дух армии — выглядят такими соблазнительными.

Самим этим «духам» я ни в коей мере не симпатизирую — ни их идеалистическому прототипу, ни диалектическому и материалистическому воплощению — и хорошо понимаю тех, кто относится к ним с презрением. Однако они указывают на существование пробела, заполнить который обязана была бы социология, причем заполнить чем-то более здравым, например анализом проблем, возникающих в рамках традиции. Или — детальным изучением логики ситуаций. Лучшие историки зачастую так и делали, проводя этот анализ более или менее бессознательно. Толстой; например, говоря о необходимости (не о решении), заставившей русскую армию сдать Москву без боя и отступить в места, где можно было найти пропитание, именно так и поступает. Помимо логики ситуации или, быть может, в ее собственных рамках нам нужно нечто вроде анализа социальных движений. Необходимы исследования, основанные на методологическом индивидуализме, исследования социальных институтов, через которые идеи распространяются и захватывают индивидов, исследования способов порождения, функционирования и гибели традиций. Другими словами, наши индивидуалистические и институционалистические модели таких коллективных реальностей, как нации, правительства и рынки, должны быть дополнены моделями политических ситуаций, а также социальных движений, таких, как научный и промышленный прогресс. (Я попытался дать анализ прогресса в разделе 32.) Эти модели историки могут использовать, во-первых, так же, как и другие модели, а во-вторых, в целях объяснения вкупе с другими универсальными законами. И все-таки этого недостаточно, это не удовлетворяет реальную потребность, на которую пытается ответить историцизм.

Отсутствие интереса к универсальным законам ставит исторические науки в трудное положение. Ибо в теоретической науке законы, кроме всего прочего, диктуют интерес, исходя из которого производятся наблюдения, или же представляют собой точки зрения, с которых эти наблюдения ведутся. Напротив, в истории универсальные законы, по большей части тривиальные и не осознанные историком, совершенно не способны выполнять эту функцию. Ее; должно выполнять что-то другое. Разумеется, не бывает истории без точки зрения; подобно естественным наукам, история должна быть селективной, если не хочет, чтобы ее затопил поток ненужного и бессвязного материала. Попытка проследить причинные цепочки, уходящие в далекое прошлое, ни к чему не приводит, ибо каждое следствие, с которого мы начинаем, имеет великое множество различных причин; иначе говоря, начальных условий слишком много и в большинстве случаев они не очень

интересны.

Единственный способ, которым мы можем преодолеть эту трудность, состоит в том, чтобы сознательно ввести в историю точку зрения; т. е. писать ту историю, которая нас интересует. Это не означает, что мы можем искажать факты или пренебрегать теми из них, которые не подходят к нашим схемам. Напротив, все факты, имеющие отношение к нашей точке зрения, должны быть рассмотрены тщательно и объективно (в смысле «научной объективности», см. следующий раздел). И это не означает, что факты и аспекты, не имеющие отношения к нашей точке зрения, вообще не должны нас интересовать.

Селективные подходы в изучении истории в чем-то аналогичны по функции научным теориям. Поэтому их часто и принимали за теории. И действительно, идеи, которые не могут быть сформулированы в виде проверяемых гипотез, единичных или универсальных, похожи на научные гипотезы. Однако, как правило, эти исторические «подходы» или «точки зрения» невозможно проверить. Их нельзя опровергнуть, так что подтверждение таких подходов не имеет никакой ценности, даже если их так же много, как звезд на небе. Назовем такую селективную точку зрения или фокус исторического интереса, если она не может быть сформулирована в виде проверяемой гипотезы, исторической интерпретацией.

Историцизм считает интерпретации теориями. И в этом заключается одна из главных его ошибок. «Историю» можно интерпретировать по-разному: в ней можно видеть классовую борьбу, или борьбу за расовое господство, или борьбу между «открытым» и «закрытым» обществом; история может быть историей религиозных идей или научного и промышленного прогресса. Все эти точки зрения в большей или меньшей степени интересны и как таковые вполне приемлемы. Однако историцисты так не считают, они не хотят признавать множества равных друг другу интерпретаций, — равных в том, что касается их предположительного характера и произвольности (даже если некоторые оказываются плодотворными — что весьма важно). Вместе этого историцисты видят в них концепции или теории, утверждающие, что «история есть история борьбы классов» и т. д. А если какая-то точка зрения оказывается плодотворной и в ее свете могут быть упорядочены и интерпретированы многие факты, то это ошибочно принимается за подтверждение или даже за доказательство «концепции».

Но и историки классического склада, справедливо отвергающие эту процедуру, также совершают ошибку. Стремясь к объективности, они пытаются избежать любой точки зрения; и поскольку это невозможно, то обычно неосознанно они занимают ту или иную точку зрения. Тут их объективности приходит конец, ибо вряд ли можно критически относиться к собственной точке зрения и понимать ее ограниченность, вообще не зная о том, что она существует. Эта дилемма разрешается, если мы сознательно принимаем точку зрения, формулируем ее и всегда помним, что это лишь одна из множества точек зрения и, сколько ни поднимай ее до уровня теории, проверке она не поддается.

32. Институциональная теория прогресса

Через изложение теории научного и промышленного прогресса я попытаюсь проиллюстрировать идеи, выдвинутые в предыдущих четырех разделах, в особенности идеи ситуационной логики и методологического индивидуализма. Выбор иллюстративного материала не случаен. Именно феномен научного и промышленного прогресса вдохновил историцистов XIX века, и взгляды Милля по этому поводу уже обсуждались на страницах этой книги.

И Конт и Милль считали, что прогресс — безусловная, или абсолютная, тенденция, сводимая к законам человеческой природы. «Закон последовательности, — пишет Конт, — даже если на него указывает со всем возможным авторитетом метод исторического наблюдения, не следует окончательно принимать, прежде чем он не будет сведен рациональным образом к позитивной теории человеческой природы». Согласно Конту, закон

прогресса выводится из присущей человеческим индивидам тенденции к постоянному совершенствованию. Милль пытается свести закон прогресса к тому, что он называет «прогрессивностью человеческого разума», основной «движущей силой которого является желание достигнуть наибольших материальных благ». Согласно Конту и Миллю, безусловный, или абсолютный, характер этой тенденции, или «квазизакона», позволяет дедуцировать первые шаги или фазы истории, обходясь без каких-либо начальных исторических условий, наблюдений и данных. В принципе, таким способом должен быть «дедуцирован» весь ход истории; единственная трудность, говорит Милль, заключается в том, что «столь длинный ряд... каждый последующий член которого состоит из все большего числа разнообразных частей, человеческий ум исчислить не способен».

Слабость этой «редукции» очевидна. Даже если принять Миллевы посылки и дедукции за само собой разумеющиеся, это не означает, что из них вытекают важные социальные и исторические следствия. Прогресс может быть сведен на нет неуправляемой природной средой. Кроме того, посылки берут в расчет только одну сторону «человеческой природы» и не учитывают другие ее стороны, такие, как небрежность и лень. Таким образом, к «человеческой природе» можно «свести» даже то, что прямо противоположно прогрессу (в понимании Милля). Разве «исторические теории» не любят объяснять распад и крушение империй ленью и склонностью к обжорству? Собственно говоря, очень немногие события нельзя было бы правдоподобно объяснить теми или иными наклонностями «человеческой природы». Однако метод, который объясняет все, на самом деле ничего не объясняет.

Разве нельзя заменить эту удивительно наивную теорию более разумной? Для этого мы должны сделать две вещи. Во-первых, мы должны найти условия прогресса, применив принцип, предложенный в разделе 28: представить себе условия, при которых бы прогресс остановился. Объяснять прогресс психологической наклонностью было бы неверно. Вместо теории психологических наклонностей я предлагаю институциональный (и технологический) анализ условий прогресса.

Каким образом можно было бы остановить научный и промышленный прогресс? — Закрывать или взять под контроль исследовательские лаборатории, научные журналы и другие средства для дискуссии, запретить научные конгрессы и конференции, разогнать университеты и вообще учебные заведения, не выпускать книг, закрыть типографии, запретить людям писать и, наконец, говорить. Все эти вещи, которые действительно можно запретить (или взять под контроль), являются социальными институтами. Язык — это социальный институт, без которого научный прогресс немыслим, ибо без языка нет ни науки, ни развивающейся и прогрессирующей традиции. Письменность — это социальный институт, и таковыми же являются учреждения, занимающиеся печатанием и изданием, а также все другие институциональные инструменты научного метода. Даже сам научный метод имеет социальный аспект. Наука и научный прогресс существуют в результате не отдельных усилий, но свободной мыслительной конкуренции. Наука нуждается во все большей конкуренции между гипотезами и во все более строгих проверках. А конкурирующие гипотезы нуждаются в своих персональных представителях, адвокатах, судьях и даже в публике. Персональное представительство должно быть институционально организовано, чтобы его действенность была гарантирована. За институты следует платить, и их следует защищать в законном порядке. Наконец, в немалой степени прогресс зависит от политических факторов — от политических институтов, оберегающих свободу мышления, от демократии.

Интересно, что и так называемая «научная объективность» в некоторой степени зависит от социальных институтов. Наивно было бы полагать, что она основана на умственной или психологической установке ученого и есть результат его подготовки, исследовательской тщательности и интеллектуальной отрешенности. Существует даже точка зрения, согласно которой ученые вообще не могут быть объективными. Это не страшно для естественных наук, но может оказаться фатальным для наук социальных, когда

затрагиваются социальные предрассудки, классовые предубеждения и личные интересы. Разработанная в деталях так называемой социологией знания (см. разделы 6 и 26), эта концепция совершенно упускает из виду социальный, или институциональный, характер научного знания, полагая, что объективность определяется психологией конкретного ученого. Однако ни сухость, ни отвлеченность предмета естественной науки не предохраняет от вмешательства партийной точки зрения и личного интереса, и если бы все зависело от отрешенности, то наука, даже естественная наука, была бы просто невозможна. «Социология знания» упускает из виду именно социологию знания — социальный, или публичный, характер науки. Она не хочет видеть, что именно публичный характер науки и ее институтов обеспечивает мыслительную дисциплину ученого и сохраняет объективность науки и традицию критического обсуждения новых идей.

В этой связи представляет интерес концепция, изложенная в разделе 6 («Объективность и оценка»).

Поскольку научное исследование социальных проблем само оказывает влияние на социальную жизнь, социальный исследователь, который это понимает, не может сохранить незаинтересованную и объективную установку. Но в этом смысле социальная наука ничем не отличается от других наук. Физик, или инженер, находится в точно таком же положении. И не будучи социальным исследователем, он прекрасно понимает, какое громадное влияние может оказать на общество изобретение нового воздухоплавательного аппарата или ракеты.

Это лишь набросок институциональных условий, от которых зависит научный и промышленный прогресс. Важно понять, что эти условия в большинстве своем нельзя назвать необходимыми, а все вместе они недостаточны.

Условия не необходимы, поскольку без этих институтов (быть может, за исключением языка) научный прогресс, строго говоря, все равно возможен. В конце концов, «прогресс» уже произошел, от устного слова к письменному и дальше (хотя это раннее развитие нельзя назвать собственно научным прогрессом).

С другой стороны, и это важнее, мы должны понять, что научного прогресса может и не быть и при лучшей в мире институциональной организации. Например, начнется эпидемия мистицизма. Это вполне возможно, ибо некоторые интеллектуалы действительно уходят в мистицизм, и это является реакцией на научный прогресс (или на требования открытого общества). Значит, таким образом мог бы реагировать любой человек. Этого возможно было бы избежать, создавая еще какие-то социальные институты, например, образовательного характера, борясь со стереотипами мировоззрения и поощряя разнообразие. Ведь успехом может пользоваться и сама идея прогресса. Но все это не делает прогресс неизбежным. Нельзя же, например, исключить логическую возможность бактерии или вируса, заражающих всех стремлением к Нирване.

Так что даже лучшие институты не могут считаться вполне надежными. Как уже говорилось, институты подобны крепостям. Их конструкция должна быть хорошо обдумана, а персонал подобран самым тщательным образом. Но нет никаких гарантий, что научное исследование привлечет именно тех, кого нужно. Не можем мы гарантировать и того, что вообще найдутся люди с воображением и способностью изобретать новые гипотезы. Наконец, многое зависит от удачи. Ибо истина не явлена, и ошибочно было бы верить — как верили Конт и Милль, — что как только «препятствия» (намек на церковь) будут устранены, истину увидит любой желающий.

Обобщим результаты нашего анализа. В большинстве или даже во всех «институциональных» теориях человеческий, или личностный, фактор всегда будет выступать как нечто иррациональное. Предложение свести социальные теории к психологии, подобно тому как химия сводится к физике, основано на недоразумении. Неверно, что следствием методологического индивидуализма является «психологизм». Методологический индивидуализм — это совершенно неопровержимая концепция, согласно которой коллективные феномены суть результат действий, взаимодействий, целей, надежд и мыслей индивидуальных людей, а также традиций, которые они создают и поддерживают. Но можно

быть индивидуалистом, и не придерживаясь точки зрения психологизма. Так, «нулевой метод» конструирования рациональных моделей является не психологическим, а логическим методом.

Психология не может лежать в основе социальной науки. Во-первых, она сама является одной из социальных наук: «природа человека» изменяется с изменением социальных институтов, поэтому, чтобы ее исследовать, необходимо исследовать сами эти институты. Во-вторых, социальные науки имеют дело по большей части с непреднамеренными следствиями, или отзвуками (repercussions), человеческих действий. «Непреднамеренность» в этом контексте не означает «несознательности»; скорее, речь идет о следствиях, затрагивающих все интересы человека (social agent), сознательные или бессознательные. Так, любовь к горам и одиночеству с точки зрения психологии вполне объяснима, однако если бы горы любили все, то одиночество на этом бы и закончилось, а это уже не факт психологии. Но проблемы такого рода как раз и составляют самую суть социальной теории.

Таким образом, мы приходим к совершенно другому выводу, чем Конт и Милль. Мы не предлагаем сводить социологию к якобы твердой основе, психологии человека. С нашей точки зрения, человеческий фактор — крайне неопределенный и изменчивый элемент социальной жизни и социальных институтов. По сути дела, этот элемент в конечном счете не может находиться под полным контролем институтов (первым это увидел Спиноза); всякая попытка взять его под контроль приводит к тирании, т. е. к всевластию этого же самого человеческого фактора, господству прихотей немногих людей или даже одного человека.

Но нельзя ли найти способ контроля над человеческим фактором при помощи науки — этой противоположности произвола? Несомненно, биология и психология могут или смогут в самое ближайшее время решить «проблему преобразования человека». Однако это неизбежно приведет к разрушению объективности и тем самым самой науки, поскольку и та и другая основаны на свободной конкуренции мысли, т. е. на свободе. Чтобы развитие разума продолжалось и разум мог выжить, должно быть сохранено разнообразие индивидуальных мнений, целей и задач. (Вмешательство и контроль оправданы только в самых крайних случаях, когда под угрозой оказывается политическая свобода.) Даже эмоционально привлекательный призыв к общему делу, пусть самому прекрасному, есть призыв отказаться от соперничества моральных позиций, взаимной критики и аргументации. Это призыв отказаться от рационального мышления.

Эволюционист, требующий «научного» контроля над природой человека, не понимает, насколько самоубийственно это требование. Главной движущей силой эволюции и прогресса является разнообразие материала, из которого происходит отбор. Что касается человеческой эволюции, то это — «свобода быть необычным и не походить на ближнего своего», «не соглашаться с большинством и идти своим путем». Холический контроль, ведущий к уравнению умов, а вовсе не к равенству в правах, означает конец прогресса.

33. Заключение. Эмоциональная привлекательность историцизма

Историцизм — очень древнее учение. Его первые формы, вроде учения о жизненных циклах городов и народов, появились даже раньше, чем примитивный телеологизм, согласно которому за, казалось бы, слепыми изгибами судьбы скрываются свои цели. Разгадывание целей, будучи весьма далеким от научного способа мышления, несомненно, наложило отпечаток на самые современные историцистские теории. В любой версии историцизма выражено чувство устремленности в будущее, — будущее, которое приближают некие необоримые силы.

Современные историцисты, видимо, не понимают, что их учение является столь древним. Они верят (и что еще ждать от обожествления современности?), что это последнее и наиболее выдающееся достижение человеческого ума, причем оно настолько ново, что лишь немногие люди могут понять его смысл. Именно историцизм, считают историцисты, поставил проблему изменения, хотя на самом деле это одна из самых старых проблем

спекулятивной метафизики.

Противопоставляя свое «динамическое» мышление «статическому» мышлению всех предшествующих поколений, они полагают, что их учение оказалось возможным благодаря «эпохе революции», увеличившей скорость нашего развития настолько, что социальное изменение можно теперь испытать на протяжении одной человеческой жизни. Разумеется, это не что иное, как миф. Революции случались и в прошлом, а со времен Гераклита изменение постоянно открывают и переоткрывают.

Полагаю, что выдавать столь почтенную идею за идею дерзкую и революционную — значит обнаруживать невольный консерватизм; наблюдая эту пылкость по отношению к изменению, невольно хочется спросить: быть может, все не так уж однозначно и присутствует не только энтузиазм, но и сильное внутренне сопротивление? Это объяснило бы тот религиозный жар, с которым дряхлую и нетвердо держащуюся на ногах философию провозглашают последним и величайшим откровением. Однако не сами ли историцисты больше всех страшатся изменения? И не из-за этого ли страха они утратили способность разумно реагировать на критику? Все выглядит так, как будто, утратив неизменный мир, историцисты стремятся получить компенсацию, твердо веря, что изменение можно предвидеть, потому что им правит неизменный закон.